



Анастасия Дробина

Путеводная звезда

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=152736
Путеводная звезда: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-24796-7*

Аннотация

Велика Россия-матушка, много в ней городов и сел, а дорог так просто не счесть. Выбирай любую, вольный человек, и иди по ней, ищи свое счастье. Так и поступил Илья Смоляков – полюбив юную цыганочку, прямо-таки приворожившую сорокалетнего отца семейства, отправился кочевать. Вся родня отвернулась от него. Жена Настя, которая когда-то готова была отдать за Илью жизнь, отпустила его на все четыре стороны... Страсть скоро прошла, а любовь к бывшей жене, видимо, не вытравить из сердца – иначе почему в объятиях других женщин вспоминает Илья свою Настю? Может, вернуться? Но получит ли он прощение? А вдруг она все-таки приняла предложение руки и сердца от князя Сбежнева, вышла замуж и уехала в Париж?

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	47
-----------------------------------	----

Анастасия Дробина

Путеводная звезда

Вечернюю Москву заливало дождем. Апрель 1901 года начался теплыми ливнями, за несколько дней согнавшими остатки снега, и целый месяц в садах и парках столицы шелестел дождь. По улицам бежали ручьи, с крыш и веток капало, голубые фонари на Тверской и Арбате казались размытыми пятнами в туманных нимбах, так же мутно светились окна домов, трактиров и ресторанов. Даже ночью было тепло и влажно, в воздухе чувствовалось близкое лето, у уличных кошек был загадочный вид.

Трактир Осетрова в Грузинах, заведение когда-то купеческое, а теперь общедоступное, светился всеми лампами. Десятка полтора пролетов с поднятыми, мокрыми от дождя верхами выстроились вдоль мостовой. Извозчики ежились от сырости, прислушивались к доносящемуся из ресторана цыганскому пению. Спорили:

– Во, Машка запела!

– Куды, брат, Машка? Этот романец завсегда Аня пела!

– Ты не брешь, чего не знаешь! Я к Осетрову двадцать лет вожу! И не Машка, и не Аня, а Елена Степановна...

– А Настя не выступала еще?

– Не слышать пока што... Да споет, куда денется. На нее же все и съехались.

Цыганский хор Васильева со времен второй крымской кампании считался главной достопримечательностью Грузин. И хотя старый дирижер Яков Васильев год назад умер, передав дело племяннику, хор по-прежнему назывался москвичами «васильевским». Цыгане, певшие у Осетрова, могли поспорить голосами с лучшими артистами «Яра» и «Стрельны», примадонн Машу, Анну, Елену Степановну знала вся Москва. Но самой известной, «несравненной», «божественной» была дочь покойного дирижера Настасья Яковлевна, знаменитая Настя, «степная звезда романса», как писалось в газетах. «На Настю» приезжали целыми компаниями, слушать ее первым делом вели приехавших из провинции знакомых, о ней сочинялись стихи, специально для нее писались романсы. Не было москвича, который, услышав имя Насти из Грузин, не зажмурился бы мечтательно, не прищелкнул бы языком и не протянул бы со вздохом: «Да-с, Настька... Богиня-цыганка!»

Сквозь залитые дождем стекла ресторана смутно был виден темноватый зал со столами под камчатными скатертями, натертый паркет, огоньки свечей, хрусталь. На небольшой эстраде помещался цыганский хор: певицы в черных и белых платьях, оживлявшихся цветными шальями через плечо, плясуньи в легких шелковых юбках и монистах. За их спинами стояли гитаристы в старомодных казакинах темно-синего сукна. Перед хором стоял дирижер Митро Дмитриев, знаменитый Дмитрий Трофимыч – пятидесятилетний седой как лунь цыган с подтянутой широкоплечей фигурой, со скуластым лицом и узкими восточными глазами, за которые он и получил свое прозвище Арапо.¹ При взгляде на хор можно было заметить, что по крайней мере половина молодых солисток – дочери хоревода, такие же темнолицые, широкоскулые и узкоглазые. Жена Митро Елена Степановна, красивая, еще не старая цыганка с полным добродушным лицом, сидела в центре. Она считалась одним из лучших альтов хора, и от ее густого голоса дрожали свечи на столиках. А старые москвичи помнили еще время, когда Елена Степановна была Илонкой, девчонкой, похищенной Митро из табора венгерских цыган, лучшей плясуньей Москвы, под ноги которой летели ассигнации, кольца и броши.

¹ Арапо – араб (цыг.).

Митро взял гитару на отлет, быстро, по-молодому обернулся к залу. Сдержанно улыбнулся на аплодисменты, вежливым жестом попросил тишины и коротко объявил:

– Господа – Настя!

Зал взорвался новой бешеной волной аплодисментов. Они усилились втрое, когда на эстраду не спеша поднялась женщина в черном платье.

Звезда хора не была молода: ей уже исполнилось тридцать восемь лет. Прекрасно сохранившаяся фигура Насти казалась еще стройнее в строгом платье с узким лифом, выгодно оттенявшим смуглое лицо певицы. К корсажу платья была приколата бледная роза. В высокой, с вороненым отливом прическе Насти блеснул бриллиантовый гребень. Длинные изумрудные серьги бросали россыпи искр на спокойное строгое лицо, при взгляде на которое сразу становилось ясно, как ослепительно хороша была в юные годы примадонна хора. Тонкие брови, внимательный и грустный взор темных глаз, изящные скулы, прямой нос, строгий рисунок губ, бархотка с алмазной капелькой на длинной шее. В полумраке эстрады почти незаметны были два неровных шрама, пересекающие левую щеку Насти. Только эти шрамы да скрытая горечь улыбки портили великолепную красоту артистки-цыганки.

Настя молча стояла у края эстрады, ожидая, пока улягутся аплодисменты. Дождавшись полной тишины, она обернулась к хору, и из заднего ряда вышел со скрипкой ее старший сын, которому недавно исполнился двадцать один год. Это был высокий парень с резковатыми чертами, похожий на мать лишь спокойным взглядом темных, чуть раскосых глаз. Он встал за спиной Насти. Слева подошел Митро с гитарой. Певучий звук скрипки в тишине оторвался от смычка и поплыл в зал. Осторожно, словно боясь нарушить течение грустной мелодии, мягким перебором вступила гитара. Настя взяла дыхание; усталым, «сломанным», как писали в газетах, движением положила руку на грудь.

Рука судьбы чертит неясный след...
Твое лицо я вижу вновь так близко.
И веет вновь дыханьем прошлых лет
Передо мной лежащая записка.
Не надо встреч, не надо продолжать!
Не нужно слов – прошу тебя, не стоит.
А если вновь от боли сердце ноет,
Заставь его забыть и замолчать...

Тишина в зале стояла мертвая. Ни за одним столиком не стучали приборы, не звенели, соприкасаясь, бокалы, не слышались разговоры. Даже ловкие половые застыли, кто у столика, кто у буфета, со своими салфетками и подносами, да никто и не обращался к ним. Сам хозяин, Осетров, старик с седой, аккуратно подстриженной бородой и безразличными глазами, вышел из-за буфетной стойки и, заложив большие пальцы рук за проймы шелкового жилета, слушал. Лицо певицы оставалось спокойным и серьезным, ресницы ее были опущены. Чистый голос без малейшего усилия уносился на самые отчаянные верхи и падал оттуда на низкие, почти басовые регистры. И только к концу романса Настя подняла ресницы, и в зале увидели, как влажно блестят ее глаза. Голос рванулся к потолку, зазвенел с тоской, с болью.

За одним из столиков истерически всхлипнула женщина. Какой-то молодой человек, отодвинув стул, поспешно вышел из зала. Закончив романс, Настя дождалась последней горькой ноты скрипки, опустила голову. И подняла взгляд, лишь когда зал взорвался бурей.

– Настя! Ура, Настя! Несравненная! Божественная! Чаровница! – кричали восхищенные слушатели.

Певица, сдержанно улыбаясь, раскланялась. Несколько поклонников подошли было с цветами, но их оттеснил сутулый человек лет сорока в измятом гороховом сюртуке с брюзгливо изогнутым ртом и проплешиной в седых выующихся волосах.

– А, Владислав Чеславич, добрый вечер! – с улыбкой поприветствовала его Настя. – Что-то давно вас видно не было, не хворали?

– Дела, Настасья Яковлевна, все дела... Издательство требует рукопись, день-деньской корплю над бумажками... Пришел к вам с великой просьбой. Вот, не откажетесь ли взглянуть?

Настя приняла свернутый лист бумаги, взглянула на мужчину вопросительно. Тот пояснил:

– Текст нового романа. Окажите милость, взгляните на досуге. Если пустяк и пошлость – так и скажите, я ваш старый поклонник и не обижусь. А если, чем черт не шутит, не совсем дурно, то...

– У вас совсем дурно не бывает. – Настя улыбнулась, пряча бумагу в рукав. – Непременно взгляну завтра и Митро покажу. Он на вас до сих пор за «Сломанную розу» не намолится, второй сезон на бис поет.

Митро, следивший за разговором, сделал сестре чуть заметный знак: долго беседовать во время выступлений не полагалось. Настя, извинившись, отошла от края эстрады и села в первом ряду, вместе с солистками. Хор запел веселую «По улице мостовой». Владислав Чеславович вернулся к столику в дальнем углу, за которым дожидался, нетерпеливо вертя в пальцах вилку, юноша-брюнет с болезненным худым лицом.

– Приняла?! – выпалил он, едва Владислав Чеславович уселся за стол.

– Разумеется, – усмехнулся тот. – Только не обольщайся, друг мой. Настасья Яковлевна с первого взгляда поймет, что текст романа – не мой. Как бы мне еще не пришлось виниться перед ней за обман... Но ты не беспокойся, романс более чем сносный. Если Настя согласится принять его к исполнению, ты загремишь на всю Москву. Лично меня смущает лишь строчка «И бешеный разлом испорченной души». Прямо-таки разит декадентством, причем пошленьким, а поэзия романа требует...

– Какая все же непостижимая женщина, Заволоцкий, не правда ли? – торопливо перебил его молодой человек, устремив взгляд на сидящую среди цыганок Настю. – Я понимаю, почему по ней до сих пор сходят с ума. От нее так и веет загадкой, тайной древних степей, беззвездными ночами...

– Это Брюсов вас всех испортил, – со вкусом отпивая из бокала портвейн, убежденно сказал Заволоцкий. – Все эти степные тайны и беззвездные ночи – досужая выдумка наших символистов. «Сливаются бледные тени, видения ночи беззвездной, и молча над сумрачной бездной качаются наши колени...» Тьфу! Я чуть не умер, когда прочел, а ведь это было пять лет назад! То, что печатается сейчас, еще хуже.

– «Наши ступени»... Ступени, а не колени, не ерничайте! – обиженно поправил молодой человек, но Заволоцкий лишь отмахнулся и мечтательно произнес:

– А вот поверь мне, Костя, что жизнь этой цыганки достойна того, чтобы ее описывали Пушкин, Тургенев, Толстой... Молодой Толстой, разумеется, а не нынешний слабоумец с его насквозь фальшивым «Воскресением»... И не спорь! Вы по молодости еще не способны этого понять, а вот погоди, улягутся щенячьи восторги перед яснополянским старцем, вот тогда и...

– Вы хотели рассказать о Настасье Яковлевне, – робко напомнил Костя.

– А? Да... Видел бы ты ее в молодые годы, мой милый! Я знал ее шестнадцатилетней, и по ней еще тогда сходили с ума вся Москва! Некий князь даже, потеряв голову, звал под венец, но судьба решила иначе. Настя сбежала в табор за женихом.

– Ее муж – таборный цыган?! – поразился юноша. – Вот никогда не поверил бы!

– Бывший... Бывший муж, мой милый. Кстати, история с мужем – тоже сплошная неясность. – Заволоцкий задумался. – Илью ведь я тоже имел честь знать. Колоритнейший был образец, признаться, вылитый Князь тьмы! Совершенно таборная душа, лошадиник, кажется, даже конокрад, невесть каким ветром занесенный в хор... Но пел, кремешник этакий, боже-ственно! В своем роде не хуже самой Насти, редкой красоты тенор, почти итальянской школы бельканто, московские ценители просто разум теряли! Настя тоже не устояла. Да-с. Роковая была любовь и несчастная...

– Он посмел ее бросить?!

– Ну-у, не знаю, кто там кого бросил. Они прожили вместе семнадцать лет, кочевали с табором, жили понемножку в разных российских губерниях, а лет шесть назад снова объявились в Златоглавой. С выводком детей, разумеется. А потом что-то произошло, и вот вам пожалуйста – Настасья Яковлевна осталась со всеми детьми в Москве, в хоре, а Илью как ветром сдуло. И уже сколько времени о нем ни слуху ни духу.

– Что-то произошло... – задумчиво повторил Костя. – Странно это, право. Неужели он нашел женщину лучше? Трудно поверить.

– Мне тоже, но... Вообще, очень туманная история. Цыгане, я думаю, что-то знают, но этот народ не любит выносить сор из избы. Я имел нахальство несколько раз заговаривать с Настасьей Яковлевной о ее супруге – и был очень вежливо, даже с почтением, поставлен на место... Знаешь, то лето было для хора просто роковым! Вообрази – сначала пропали старшие дети Митро!

– Дмитрия Трофимыча? Хоревода? Этого седого?

– Оттого, говорят, и поседел... У него ведь была дочь приемная, чудо-плясунья семнадцати лет, и родной сын годом моложе. Так вот в один вечер оба пропали. Скандал был страшный, у парня осталась брошенной невеста... Никто ничего не понимал, искали долго, но без пользы. Митро, бедный, сразу сдал... Сын ведь у него был один, осталось восемь дочерей, вон – сидят в шалах... Дальше – больше. Через какое-то время Настя с мужем уезжают из Москвы. А через полгода Настя возвращается – со всеми детьми, но без мужа! И опять никто ничего не знает! Настя тут же берет первые партии хора, поет «Записку», «Розы в хрустале» и снова становится звездой. И заметь, даже эти ужасные шрамы ей не помеха! Стоит запеть – и снова красавица, снова богиня...

– А откуда у нее шрамы?

– Печать таборной жизни... Я про эти отметины много слышал, но все, по-моему, вранье. То ли Илья резанул ее из ревности, то ли разнимала она какую-то драку... Не знаю. Эта женщина полна загадок. Так что бросай свое декадентство с бешеными и испорченными душами и пиши роман об известнейшей московской певице. Если хочешь, я тебя ей представлю.

– О, это было бы чудесно! – вспыхнул Костя. – Но... если Настасья Яковлевна не была откровенна с вами, старинным другом, захочет ли она рассказать что-то мне?

– Разумеется, ничего не расскажет, – усмехнулся Заволоцкий. – Да тебе это и не надобно. Романтических подробностей ты великолепно навывдумываешь и сам. Вот ведь тоже парадокс – кто бы ни взялся писать о цыганах, все выходят африканские страсти, начиная с Пушкина и кончая этим, как бишь его... Пешковым? Впрочем, он теперь, кажется, Горький. Не поверишь, я читал его нашумевшего «Макара Чудру» и бранился, как извозчик в участке! А ведь нет на свете менее расположенного к романтизму народа, чем цыгане. Они, мой друг, весьма практичны, расчетливы, любят деньги и – земные люди до мозга костей.

– Но если это так... – медленно начал молодой человек.

– Тогда не о чем и писать, верно? – с улыбкой закончил Заволоцкий. – Возможно... Да, лишь одно я знавал исключение из этого корыстного племени – Настасья Яковлевна. Была и есть гордячка. Ручаюсь, с какой бы красоткой ни сбежал Илья, – он прогадал.

Хор на эстраде закончил выступление и встал. Цыган провожали аплодисментами, восторженными возгласами. Насте поднесли четыре корзины цветов, и она попросила полового отнести их в артистическую. У нее одной из всего хора была отдельная уборная, и Настя скрылась туда, вежливо, но твердо оставив толпу поклонников за дверью.

Оказавшись одна, примадонна хора аккуратно положила на спинку стула шаль, смахнула с лица выбившуюся из прически прядь волос, опустилась на табурет возле старого потускневшего зеркала. Долго сидела молча, склонив голову на руки и, казалось, задумавшись. В такой позе ее и застал вошедший Митро. Некоторое время он колебался, стоя в дверях и думая – не уйти ли, но в конце концов негромко окликнул:

– Настька...

– Ну? – не поворачивая головы, спросила она. Митро подошел, встал за спиной сестры. Помедлив, положил ладонь на ее локоть.

– Ну, что ты?

– Ничего, – помолчав, сказала Настя. – Знаешь ведь, не люблю эту «Записку» петь. И нот моих нет, и слова глупые.

– Глупые не глупые, а господам нравится... Там князь Сбежнев к тебе просится.

– Сергей Александрович?! – Настя обернулась с улыбкой. С груди ее, отколовшись, упала на пол бриллиантовая брошь, но Настя не заметила этого, и украшение поднял Митро.

– А почему он сюда приехал? Поди скажи, пусть на Живодерку к нам едет, я сейчас на извозчика – и домой, там и поговорим... Бог мой, я его полгода не видала!

– Я ему говорил, но он торопится, кажется. Ну, что – примешь?

– Спрашиваешь еще! Зови скорее!

Митро вышел. Настя торопливо повернулась к зеркалу, но успела лишь поправить волосы и водворить на место брошь. Дверь, скрипнув, открылась снова, и в уборную, слегка прихрамывая, вошел князь Сбежнев.

Князю в эту зиму сравнялось пятьдесят пять, но возраст, казалось, не коснулся стройной и подтянутой фигуры героя Крымской войны. В черных гладких волосах князя было мало седины, выбелившей лишь виски, и только возле чуть сощуренных глаз прибавилось морщин. Войдя, он смущенно, как мальчик, остановился у порога. Настя с улыбкой встала навстречу, протянула обе руки.

– Сергей Александрович, ну, здравствуйте, здравствуйте, князь вы мой прекрасный! Где же пропадали так долго? Ну, как Петербург, как дела ваши министерские?

– Петербург стоит на своих болотах, дела – лучше не надо, – улыбнулся князь, но улыбка эта была грустной, и Настя участливо опустила пальцы на рукав его сюртука. Князь бережно взял ее руку, поцеловал запястье.

– Девочка, я сейчас сидел в зале, слушал тебя. Это какое-то волшебство! Ты совершенно не меняешься, та сйге. Видит бог, как будто вчера я слушал тебя в доме графов Ворониных... Помнишь?

– Помню. Двадцать два года прошло... Может, и пора уж бросить вспоминать?

Настя сказала это полушутливо, но князь покачал головой:

– Бог с тобой... Это самые лучшие мгновения моей молодости. И захочу забыть – не сумею.

Настя улыбнулась. Спohватившись, указала князю на стул возле стола. За стеной в зале снова запела скрипка. Вслушиваясь в веселую мелодию и перебирая изумрудный браслет на запястье, Настя спросила:

– Митро сказал, вы спешите? И в гости к нам на Живодерку ехать отказались... А могли бы по старой памяти!

– И могу, и хочу. Но... – князь вынул из жилетного кармана мелодично зазвонивший брегет. – Через час я должен быть на вокзале.

– В Петербург возвращаетесь? Правду говорят, что вас помощником министра назначают? И что миссия какая-то в Париже?

– Бог мой, откуда эти сведения? – князь рассмеялся, но было видно, что он немало изумлен. – Похоже, в таборе ты все-таки выучилась гадать.

– И по сей день не умею. Так, слух прошел... Сами знаете, Москва – деревня, ничего не скроешь, а у нас на Живодерке всякие люди бывают. Теперь, наверное, совсем не скоро в Москве будете?

– Собственно, поэтому я и приехал к тебе.

Настя подняла глаза от браслета, пристально взглянула на Сбежнева.

– Настенька, эти слухи верны. Моя карьера сейчас находится на взлете, и от предложения, сделанного министром, я не вижу смысла отказываться. Ты права, теперь ездить в Москву так часто, как прежде, я не смогу. А если придется отбыть в Париж, мы вовсе расстанемся надолго. И поэтому...

Князь, прервавшись на полуслове, вынул из кармана и положил на потрескавшуюся столешницу футляр из черного бархата. Настя, не прикасаясь к круглой коробочке, вопросительно смотрела на князя. Тот, помедлив, открыл футляр сам, и из его глубины тускло сверкнула голубая капелька бриллианта. Князь вынул кольцо и положил его на стол рядом с футляром.

– Настя, я прошу тебя стать моей женой.

Настя закрыла глаза. Слабо, словно через силу улыбнувшись, спросила:

– Снова, Сергей Александрович?

– Да, я рискую. Итак?..

Настя встала, медленно отошла к темному окну, на котором свет лампы и капли дождя рисовали картины. Мутные, расплывчатые картины из далекого прошлого. Шестнадцатилетняя девочка-цыганка из хора в Грузинах. Гордый князь, покоренный ее красотой и голосом. Сорок тысяч – выкуп в хор за невесту, сговор с отцом, подготовка к свадьбе... Как давно это было!

– Нет... Нет. Не могу я, Сергей Александрович.

– Но отчего? – Князь встал, подошел к Насте. Встал за ее спиной, не решаясь обнять. Настя сама взяла его за руку, прижалась к ней губами. Тихо сказала:

– Боже... Сергей Александрович, дорогой вы мой, да сами-то подумайте, что с вашей карьерой после этого станется! У помощника министра – жена из цыганского хора! Над вами весь Петербург потешаться будет!

– Я вырву все языки! – взорвался князь.

– И министру тоже? – серьезно спросила Настя, и Сбежнев невольно улыбнулся.

– Ну... для России это было бы невосполнимой утратой... Что ж, в мои годы карьера – не главное удовольствие. С радостью брошу чиновный Петербург и вернусь в луковые грядки родного Веретенникова. Кстати, ты умеешь варить вишневое варенье? Нет? Ну так и быть, стану варить сам. Помнится, Арефьевна меня учила, может, не все позабыл...

– Не шутите, Сергей Александрович. – Настя выпустила руку князя, прошла по уборной. – А о детях моих вы помните? Их ведь пятеро, а женаты только Гришка и Петя. Что, я всю свою ораву вам на шею посажу?

– Настя, но ведь мальчики уже взрослые...

– Какие они взрослые? Ваньке одиннадцатый пошел...

Князь сделал несколько шагов по комнате, остановился у окна. Стоя спиной к Насте, вполголоса сказал:

– Позволь мне все-таки не считать это окончательным отказом. Я не тороплю тебя. Я еще буду в Москве ближе к лету, тогда и поговорим. Ты подумаешь обо всем и, может быть...

– Хорошо... Хорошо. Подумаю, – отрывисто, не глядя на Сбежнева, сказала Настя. – И, пожалуйста... оставьте меня сейчас. Не сердитесь.

Князь поднялся, молча вышел. На столе осталось лежать кольцо с голубым бриллиантом. Настя бездумно катала его пальцами по столешнице. За этим занятием ее и застал заглянувший в комнату Митро.

– Настька, а чего это Сбежнев мимо меня, как ураган, пронесся? Вы о чем говорили? Это что такое?

Митро подошел к столу, взял из рук Насти кольцо, посмотрел на свет камень, прищелкнул. Утвердительно сказал:

– Опять замуж звал.

– Да.

– А ты?

Настя не ответила. Митро швырнул кольцо на стол, в сердцах бросил:

– Ну что за дура, боже праведный!

– Оставь... – поморщившись, сказала Настя, но хоровод не унимался:

– Дурой всю жизнь была и дурой помрешь! Ты хоть бы подумала, как дальше жить придется! Мальчишки твои переженятся, кому ты нужна будешь? Кто к тебе лучше Сбежнева посватается? Императора всероссийского, что ли, дожидаться? Или Илью, этого поганца таборного?!

– Хватит.

– Чего «хватит»? Чего «хватит»?! – схватился за голову Митро. – Это ты детям своим ври, что он по делам уехал, да бабам нашим глупыми выдумками рты затыкай! А я, слава богу, не слепой и не дурак! Он от тебя с молодой сбежал, от шестерых детей сбежал, болтается где-то по Бессарабии, а ты тут в монашки готовишься! Ну, давай, давай, пхэнори,² закапывай себя в могилу! И из-за кого?! Он подошвы твоей не стоит, я это всю жизнь говорил! Хоть бы гордость какую поимела, дура ты крошечная, не то...

Настя вдруг резко встала, и Митро осекся на полуслове.

– Не смей! – отчеканила она. – Клянусь, еще слово про Илью – в тот же день уеду из Москвы. Сам будешь «Записку» петь.

– Да я же...

– Не твое это дело. Не твое, запомни.

– Я знаю... Знаю. – Митро подошел, взял сестру за руку, покаянно сжал ее пальцы. – Ну, Настька... Ну, не буду больше. Я ведь для тебя лучше хочу...

– Оставь Илью в покое, слышишь? – Настя, не глядя на брата, высвободила руку. – Я сама его отпустила тогда, сама – ясно тебе? И ни ты, ни кто другой судить его не будет, пока я жива. А насчет того, что с молодой ушел... Чья бы корова мычала!

– Это ты про что? – вскинулся Митро.

– А про то. Знаю я, откуда ты по утрам приходишь. Это ты Илоне рассказывай, что у Деруновых в карты играешь, а она пусть притворяется, что верит... Кобель старый. Внуков полный мешок, а все к девкам шляешься.

– А тебе-то что? Я, слава богу, десять человек детей поднял и в люди вывел! На чужих людей не бросал! И жене на шею не оставлял!

– Мы с Ильей тоже всех вывели, – сердито сказала Настя. – Вспомни, когда Илья ушел, Гришка уже жениться собирался. И это ты врешь, что они у меня на шее сидят. Смотри, Гришка с женой больше меня в хор приносят! Смотри, Петька жену взял – прелесть, а не плясунья, пол под ногами горит! Смотри, что Илюшка с Ефимом на гитарах выделяют! Да это не они у меня, а я у них на шее сижу!

² Пхэнори – сестренка (цыг.).

– Ну-у, хватила... – Митро снова взял в руки кольцо с голубым камнем, повертел в пальцах, вздохнул: – И почему мне никто брульянтов не дарит, а? Ладно, больше уж орать не буду. А про Сбежнева – подумай. Как следует подумай. Другого-то раза, может, и не будет.

Настя не ответила. Митро пошел к двери. Уже с порога обернулся, жестко сказал:

– Ты ведь знаешь, где Илья твой. И душу положу, что вернись он сейчас, – на шею ему кинешься.

– Ничего я не знаю, – холодно, не глядя на брата, сказала Настя. – Поди прочь.

Выругавшись, Митро пнул дверь, шагнул было за порог, но сестра окликнула его:

– Подожди, постой, послушай... А ты... Ты сам разве не знаешь, с кем он?

– Не знаю и знать не хочу! – рявкнул Митро так, что задрожали стекла. И захлопнул за собой дверь.

Домой, на Живодерку, цыгане вернулись под утро. Еще не светало, купола церкви Великомученика Георгия смутно темнели на фоне ночного неба, но Настя, войдя в свою комнату, не стала зажигать лампы. С нижнего этажа, из залы, некоторое время еще доносились сонные голоса цыган, но вскоре смолкли и они, и в доме наступила тишина. Настя, не раздеваясь, села за стол. Не спеша открыла деревянный, выложенный бархатом футляр с гитарой, вынула маленькую, с изящным тонким грифом «краснощечковку», положила ее на колено. Чуть коснувшись струн, вполголоса напела по-цыгански:

Тумэ, ромалэ, тумэ, добрые люди...

Пожалейте вы годы мои...

Это была песня Ильи. Он всегда пел ее со старшей дочерью, с их слепой Дашкой, которая теперь тоже бог ведает где...

Настя закрыла глаза. Привычно вызвала в памяти темное, некрасивое лицо мужа, жесткие черты, черные, чуть раскосые, диковатые глаза с голубыми белками. Двадцать два года прошло с того осеннего дня, когда брат и сестра Смоляковы, Илья и Варька, впервые появились в московском хоре – пахнущие дымом, дикие, настороженные, готовые в любую минуту послать все к черту и уехать обратно в табор... Почему, за что она полюбила Илью – таборного цыгана, конокрада, лошаdnика, так непохожего на тех, кто до сих пор окружал ее? Почему пошла за ним девчонкой, не оглядываясь, не боясь ничего, бросив Москву, славу, поклонников, жениха-князя? Почему терпела всю тяжесть таборной жизни, почему не пожалела красоты, кинувшись однажды разнимать драку между цыганами-конокрадами и мужиками, закрыв собой мужа и получив эти борозды, изуродовавшие лицо? Почему никогда ни о чем ни на минуту не пожалела? Что такое оказалось в том некрасивом, молчаливом парне с сумрачным взглядом из-под сросшихся бровей? Может, он взял ее голосом – своим хватающим за душу, невероятной красоты голосом, какого Настя не слышала больше ни у кого? Может, тем, что Илья любил ее и как мог берег от тяжести кочевой жизни, старался не обидеть, ни разу не поднял на нее руки? Другие женщины... Да, у Ильи они были. Но и с этим Настя смогла смириться, чувствуя в глубине души, что Илья никогда не оставит свою семью. Она знала это... и ошиблась.

Настя отложила гитару. Закрыла глаза, вспоминая то грозное, душное лето, тот красный от падающего за церковь солнца вечер, и эту самую комнату, и полосы заката на стене, и застывшее лицо мужа. Тогда Настя собрала все силы, чтобы сказать ему: «Уходи». Из-за Маргитки, красавицы-плясуньи с недобрыми зелеными глазами. Из-за семнадцатилетней девочки. Из-за своей племянницы, приемной дочери Митро. Целое лето девчонка была любовницей Ильи, целое лето они встречались на задворках самого запущенного в Москве Калитниковского кладбища. И позже Настя поняла: они оба совсем ошалели от любви, раз

пошли на такое. Ведь Илье тогда было уже под сорок, и у них с Настей было шестеро детей, и старшую, Дашку, слепую красавицу, уже просватали.

Дашка не была родной дочерью Насти. Ее, двухмесячную, подбросили в корзине к порогу их дома, и Ильа даже не стал отпираться: до того был похож на него этот коричневый, орущий, сучащий ножками комочек. Разумеется, комочек этот остался с ними: цыгане никогда не бросали детей, ни законных, ни «грешных». Потом родился Гришка, потом год за годом сыпались остальные мальчишки, но Настя точно знала, что никого из своих детей Ильа не любил так, как Дашку. Девочка ослепла двух лет от роду, когда в степи их табор накрыло небывалой силы ураганом, и на глазах у Дашки молния ударила в столетний каштан. Все цыгане глядели на иссиня-белый столб огня, вдруг выросший посреди степи, но почему-то лишь маленькая Дашка перестала после этого видеть.

А выросла красавицей, тоненькой, стройной, с густой каштановой косой, с отцовскими черными, чуть раскосыми глазами – всегда неподвижными... Женихов, правда, на эту красоту не находилось: цыгане не хотели брать в семью слепую. И Ильа, и Настя, и сама Дашка давно смирились с тем, что ей придется остаться вековухей. Но все изменилось, когда они всей семьей приехали в Москву, к Настиной родне. И в первый же день Ильа увидел Маргитку, приемную дочь Митро, красавицу, зеленоглазую плясунью, незаконную дочь купца и жены Митро – хоровой цыганки, «смертную любовь» первого московского вора Сеньки Паровоза.

Настя ни о чем не догадывалась до последнего. Ей и в голову не могло прийти, что между Ильей и девочкой-цыганкой может что-то загореться. И не только потому, что Митро был им родственником, не только потому, что девчонка была девственна, как любая цыганская невеста, не только потому, что Ильа был женат... Нигде, ни в таборе, ни в городе, среди цыган не было принято крутить любовь «со своими». Цыгане пробавлялись русскими любовницами, жены смотрели на это сквозь пальцы, зная: муж никогда не уйдет из семьи. Делай что хочешь, спи с кем хочешь, но не оставляй детей – таков был закон. Бросишь свою семью – и никто из цыган не подаст тебе руки, отвернутся самые близкие люди, не поздороваешься даже родной брат. И кто из цыган решился бы заплатить такую цену? И еще страшнее была связь с чужой женой, с чужой дочерью, с чужой сестрой. За такое просто убивали, и Ильа это знал. Не могла не знать и Маргитка, для которой с потерей девственности терялась и всякая надежда выйти замуж, которую ждали впереди лишь унижение, позор, насмешки цыган и проклятие родителей. Да, все это было так... и все-таки они начали встречаться.

Настя ни о чем не подозревала. Ее в то лето беспокоила судьба дочери, Дашки. От нее неожиданно для всех потерял голову брат Маргитки, Яшка, семнадцатилетний гитарист, упрямый и сильный парень. Ильа воспротивился было, но Яшка пошел напролом, уговорил своих родителей заслать сватов, «заморочил голову», по выражению Ильи, самой Дашке, и осенью должны были сыграть свадьбу. И сыграли бы... не застань Дашка однажды собственного отца целующимся в темных сенях с Маргиткой. Слепая дочь ничего не могла увидеть, но, видимо, услышала достаточно, потому что прямо из сеней вылетела на улицу, под ледяной дождь. На другой день Дашка свалилась в лихорадке. Две недели Дашка металась в жару, бредила беспрерывно отцом и Маргиткой, и Настя, неотлучно находившаяся при дочери, только тогда и узнала обо всем: о трех месяцах тайной любви мужа и семнадцатилетней племянницы; о том, что они собирались вдвоем бежать в Бессарабию, и даже о том, что Маргитка, кажется, беременна. Это была догадка самой Дашки: Ильа, по ее словам, еще ничего не знал.

Бежать с любовницей в Бессарабию Ильа, однако, отказался, и Маргитка уехала без него. Уехала с братом Яшкой, который случайно застал ее, зареванную и растерянную, за увязыванием вещей. За несколько минут Яшка заставил ее рассказать обо всем, понял, что оставлять беременную невесту от кого сестру в Москве нельзя (под угрозу вставала репута-

ция всей семьи), но и отпустить ее одну тоже было невозможно. Яшка принял единственно допустимое решение: ехать с Маргиткой самому. Нужно было торопиться, и Яшка успел лишь на минуту забежать к еще лежащей в постели невесте, чтобы рассказать ей обо всем и поклясться, что при первой же возможности вернется за ней. Больше ни его, ни Маргитки никто не видел в Москве...

В полуоткрытое окно пробрался сырой сквозняк, шум дождя стал отчетливее, и Настя, не вставая, прикрыла створку. Склонилась над столом, опустила голову на руки. Подумала о том, что хуже той осени у нее не было дней в жизни. Даже когда она лежала в больнице с изуродованным лицом, даже когда цыганки сплетничали ей об изменах Ильи, даже, грех сказать, на недавних похоронах отца ей не было так плохо, как в ту дождливую осень. Хуже всего было то, что Настя знала обо всем, что произошло, все понимала и никому ничего не могла рассказать. Не могла даже успокоить Митро и Илону, которые чуть с ума не сошли, когда их старшие дети исчезли из родительского дома. Шум из-за этого побега поднялся страшный, вся цыганская Москва гудела, спорила и сплетничала о несчастье в семье Дмитриевых. Предположения высказывались самые невероятные: среди женщин нашлись даже такие, которые вспомнили, что Яшка и Маргитка – не кровные брат и сестра, а значит, чем черт не шутит... Настя теряла последнее терпение, слыша такие разговоры, кричала на баб, обзывала их проклятыми сплетницами, плакала от злости прилюдно, но поделаться с цыганами ничего было нельзя, и языки в каждом доме на Живодерке чесали больше месяца. Но тяжелее всего было смотреть, как убивается Илона, постаревшая за этот месяц на десять лет, утешать Митро, который первый раз на памяти Насти был совершенно выбит из колеи и мог только растерянно спрашивать: «Но куда же их черт понес, Настька? Совсем ничего не понимаю... Маргитка-то ладно, всю жизнь безголовой была, но Яшка-то, Яшка... Куда их нелегкая погнала? И зачем, зачем?!»

Настя молча глотала слезы. Сердце разрывалось, в горле стоял ком, несколько раз она была близка к тому, чтобы упасть на колени перед братом, словно она сама была виновата в его горе, и рассказать обо всем. Слава богу, ей хватило ума понять: от правды лучше не станет. Настя не только жалела Митро, но еще и ясно понимала: если все вскроется, ее мужу, Илье, не жить.

Илья не ушел от нее. И Настя не смогла прогнать его, потому что все-таки они прожили вместе семнадцать лет и у них было семеро детей. Потому что в душе отчаянно надеялась: перебесится, забудет, успокоится, заживут как жили... Илья ни о чем ее не просил. Настя ни о чем его не спрашивала. Еще месяц они прожили в Москве: уехать от семьи Митро, когда там случилось такое несчастье, было бы просто свинством. К тому же их отъезд был бы воспринят цыганами как демонстрация смертельного оскорбления: ведь Дашка после бегства Яшки осталась брошенной невестой. Митро даже попытался извиниться за сына перед Ильей. И этого Илья, хорошо знавший, почему уехал Яшка, уже не выдержал.

Их разговор с Настей состоял из трех слов. Ночной разговор, когда она сидела на постели, закрыв лицо ладонями, а Илья стоял, отвернувшись к стене.

«Уедем, Настя?»

«Уедем...»

И они уехали, никого этим не удивив. У Митро просто не было сил уговаривать сестру и ее мужа остаться. На прощанье он все же предложил им оставить Дашку в Москве как его законную невестку, но Илья не согласился, и дочь уехала с ними.

Дашка держалась на удивление стойко. Настя поражалась, глядя на дочь – настолько та была уверена в том, что Яшка непременно приедет за ней. Они перебрались в Старый Оскол, жизнь пошла своим чередом, осень сменилась зимой, Настя в душе уже точно знала, что Яшка не вернется, и уже думала, как бы поосторожнее поговорить об этом с дочерью, но... каждый раз не хватало духу при виде Дашкиного лица, светившегося улыбкой при одном

упоминании имени Яшки. В конце концов Настя решила не трогать дочь. Гораздо больше ее беспокоил муж.

Илья никогда не был особенно разговорчивым, а теперь и вовсе перестал открывать рот: за всю осень и зиму Настя могла по пальцам пересчитать дни, когда они с мужем говорили о чем-то. Куда делись их споры о Дашке, о детях, о родственниках и даже о романах, которые Настя пела в Москве! Теперь Илья упорно молчал, в самом крайнем случае скупороня: «Делайте что хотите» или «Твои дела». Он стал надолго уходить из дома, отговариваясь «лошадиными делами», пропадал в таборах, ездил к какой-то дальней родне то в Смоленск, то в Калугу, то в Псков, и Настя не могла отогнать от себя мысли о том, что Илья ищет Маргитку. И когда муж возвращался – потемневший, злой, иногда в чужой обтрепанной одежде, пахнувший водкой и лошадиным потом, – Настя наряду с облегчением чувствовала острую боль под сердцем. Иногда, проснувшись среди ночи и закусив до крови губы, она слушала, как муж беспокойно ворочается во сне, зовет: «Чайори мири³... Чайори...» Слава богу, такое было нечасто, и наутро Илья, кажется, ничего не помнил. И Настя молчала, прятала слезы, из последних сил надеялась: пройдет... И, может, впрямь прошло бы, если бы весной, когда с холмов пополз почерневший снег и в небе над городом закричали журавли, к ним в дом не появился Яшка.

Парень повзрослел, вытянулся, сильно раздался в плечах, еще сильнее стал походить на отца. Увидев племянника на пороге, Настя только всплеснула руками и слабо ахнула. Яшка сдержанно улыбнулся, попросил разрешения войти. Настя, с трудом взяв себя в руки, вошла в комнату, где семья сидела за ужином, но успела только выговорить: «Илья, посмотри, кто к нам...»

Закончить она не успела: Дашка вдруг поднялась из-за стола и уверенно, словно была зрячей, пошла прямо к Яшке. У парня дрогнуло обветренное лицо. Он протянул руку, поймал Дашку за рукав и в нарушение всех приличий, забыв о том, что это происходит на глазах Дашкиных родителей, привлек ее к себе.

«Ты что же делаешь, окаянный?» – хотела было сказать Настя, но взглянула через стол на мужа, и слова замерзли в горле. Лицо Ильи, казалось, ничего не выражало, но в его глазах Настя поймала испуг и смятение. Она поняла: Илья пытается угадать, что известно Яшке о нем и Маргитке и как теперь вести себя с парнем. Но Яшка взял за руку плачущую Дашку, спокойно и уверенно сказал: «Я за ней, Илья Григорьевич», и Настя поняла, что он ничего не знает. Понял это и Илья, который, нахмурившись, встал из-за стола, помолчал немного и обычным, слегка недовольным голосом сказал:

– Ну, что с тобой делать... Садись за стол, а там решим.

Сидя за столом напротив Яшки, Настя внимательно вглядывалась в его лицо. Все дети Митро были очень смуглыми, в отца, но Яшка приехал вовсе черным, как антрацит, из чего Настя заключила, что эти полгода он провел на юге. Вскоре выяснилось, так оно и есть: Яшка рассказал, что живет «своим домом» в Балаклаве и занимается конной торговлей. О московских делах прошлогодней давности он не упоминал вовсе и лишь обмолвился, что в Москве он не был и ехать туда не собирается.

– Ты хоть отцу напиши, – осторожно сказала Настя. – Он, бедный, поседел весь, и Илона чуть с ума не сошла...

– Напишу, – нехотя уронил Яшка, но Настя поняла, что писем в Москве от него вряд ли дождутся. Через стол она взглянула на мужа. Илья по-прежнему выглядел спокойным, но его кулаки, неподвижно лежащие на столешнице, были сжаты добела.

В ночь перед своим отъездом Дашка пришла на кухню, где усталая Настя домывала посуду. Сев на табурет, расправила фартук на коленях, ровно сказала:

³ Чайори мири – девочка моя (цыг.).

– Маргитка жива. Живет с Яшкой в Балаклаве. Скоро родит.

Глиняная миска выпала из Настиных рук и разбилась. Настя тяжело прислонилась к стене, пробормотала: «Дэвлалэ...»⁴ Дашка продолжала молча теревить фартук.

– Ты... отцу говорила?

– Ему лучше не знать.

– Да, – хрипло подтвердила Настя, закрывая глаза. Когда через минуту она их открыла, Дашки уже не было за столом: лишь слегка покачивался край скатерти. Настя села на лавку, машинально сгребла ногой осколки миски, подперла голову рукой. С отчаянием подумала о том, что это последняя ночь Дашки в родительском доме, что завтра она уедет с мужем и бог весть когда Насте придется увидеть ее снова. Впереди у девочки семейная жизнь со всеми ее бедами и редкими радостями, и лучше бы было им, матери и дочери, просидеть эту ночь вдвоем, тихо разговаривая перед долгой разлукой, но... Но Дашка ушла, а у Насти не было сил вернуть ее. От тревоги сжималась грудь. Маргитка... жива... Господи!

После отъезда Дашки Илья пропал из дома на неделю. Вернулся грязный, с соломой в волосах, весь пропахший конским потом и дымом, и Настя догадалась, что муж снова был в каком-то таборе. За весь вечер они не сказали друг другу ни слова, молча легли спать, а ночью Настя проснулась от глухого, прерывистого шепота рядом с собой:

«Чайори... Чайори... Чайори...»

Она резко приподнялась на локте. Стиснула зубы, зажмурилась, едва сдерживаясь, чтобы не закричать на весь дом: замолчи, проклятый, пожалей меня, не смей звать ее, не смей... Но за стеной спали мальчишки, кричать было нельзя, и Настя могла лишь молча, давясь слезами, ждать, когда все закончится. Прежде Илья успокаивался быстро, замолкал сам и спал до утра, но сейчас он словно с цепи сорвался. В мертвенном свете весенней луны, глядящей в окно, Настя смотрела на искаженное лицо мужа с закрытыми глазами. Он шарил руками рядом с собой, скользя пальцами по одеялу и рубашке Насти, морщился, хрипло звал:

«Чайори... Чайори... Маргитка, где ты? Где ты, девочка? Девочка моя... Лулуди⁵... чергэнори⁶... Я же все сделал... все... Что ты хотела – все... Где ты? Где ты?!»

В конце концов Настя испугалась, что он разбудит детей, и, собравшись с духом, потрогала мужа за плечо:

«Илья, что с тобой? Успокойся...»

Он тут же проснулся. Рывком сел, дико огляделся по сторонам, блестя белками расширенных глаз, еще раз сдавленно позвал: «Чайори...» – и увидел Настю. Она не сразу поняла, что в лунном свете отчетливо видно ее залитое слезами лицо. Илья опустил голову. Молча повалился навзничь на подушку. Кажется, вскоре заснул. Но через час Настю снова разбудил его хриплый голос, зовущий Маргитку, и снова ей пришлось будить Илью. И еще несколько раз за ночь она делала это, и лишь под утро оба они заснули намертво, и Настя открыла глаза лишь к полудню. Ильи рядом не было.

Это продолжалось шесть ночей. Шесть ночей – с перерывами в два-три дня, на которые Илья пропадал из дома. Каждый раз Настя думала, что он ушел совсем, но муж возвращался, и они ложились вместе в постель, и он снова и снова не давал Насте спать, мечась по постели и сдавленно зовя свою чайори, и снова она расталкивала его и плакала в подушку, и снова Илья притворялся спящим и снова исчезал наутро из дома... А на седьмую ночь Настя вдруг ясно и даже с облегчением поняла, что больше она так не может и что ничего уже не поправить и не залатать. Слово в слово она помнила их последний разговор. Слово в слово – и сейчас, пять лет спустя.

⁴ Дэвлалэ – боже мой (цыг.).

⁵ Лулуди – цветочек (цыг.).

⁶ Чергэнори – звездочка (цыг.).

– Илья, так больше нельзя. Ты с ума сойдешь.

– Ничего не будет...

– Нет, будет. Или вперед я умру. Прости, не могу я больше. Прошу тебя, уходи. Иди к ней. Я вижу, ты ее все равно забыть не можешь. Еще раньше уходить надо было, чего ради полгода промучились?

– Не говори так. – Илья сидел на краю постели, уткнувшись лбом в кулаки; его голова отбрасывала в лунном свете всклокоченную тень. – Куда я пойду, зачем? Я... Я даже не знаю, где она.

– Она в Балаклаве, с братом. Мне Дашка рассказала. – Настя помолчала немного и вполголоса добавила: – Она ведь тяжелая от тебя. Ты не знал?

Илья поднял глаза. Шепотом произнес: «Дэвлалэ...», помотал головой, словно отгоняя что-то. Настя наблюдала за ним с горькой улыбкой. И сама удивлялась своему спокойному голосу.

– Вижу, что не знал. Ты поезжай, у нее уже вот-вот должно... Поезжай, Илья. За меня не бойся, я в Москву, в хор, вернусь. Не думай, мне так тоже лучше будет. Хоть мучиться перестану, на тебя глядя. Еще возьму и замуж выйду! – Она даже нашла в себе силы рассмеяться. – Езжай, Илья. Прямо завтра. Может, еще и свидимся когда.

Он не отвечал. Настя легла на постель, отвернулась к стене. Подивилась тому, как пусто и тихо стало в душе: словно выгорело все. Но сон так и не пришел к ней, и на рассвете она слышала, как тихо поднялся и ушел Илья. Ушел не прощаясь: о чем еще им можно было говорить? Час спустя Настя встала сама и, когда проснулись мальчишки, сказала при них своему старшему, Гришке:

– Отец уехал. Ты теперь в доме старший. Продавай лошадей и дом, едем в Москву.

Гришка не выказал и тени удивления – Настя даже испугалась, не знает ли он чего. Она знала, что в Москве Гришка был не на шутку влюблен в зеленоглазую Маргитку, но та лишь смеялась над ним и слышать не хотела о свадьбе. Но если Гришка и догадывался о чем-то, то виду не подал. Спокойно выслушал мать, кивнул, взял ключи и пошел на конюшню. Тогда Настя впервые заметила, что похожий больше на нее старший сын чем-то начал напоминать Илью.

Гришка управился быстро. В считанные дни было распродано все хозяйство, Настя раздала цыганкам мебель и кухонную утварь, написала Митро, и через неделю они всей семьей въехали в Москву.

В столице им обрадовались. Вопросов никто не задавал. Все знали Настю, все были уверены: не захочет – ничего не расскажет. На другой же день они с Гришкой выступали с хором в ресторане. Вот и все.

Митро, впрочем, время от времени пытался расспрашивать сестру о том, что случилось. Настя отмалчивалась. Иногда взрывалась: «Не твоё дело!», иногда отмахивалась: «Да отвяжись ты... Какая теперь разница?» Но когда Митро, выходя из себя, называл Илью «таборным голодранцем» или «кобелем», она резко обрывала его: «Ты ничего не знаешь, молчи!»

Митро умолкал. И лишь однажды у них вышла серьезная ссора: когда Митро услышал от каких-то цыган о том, что муж сестры живет в Бессарабии с молодой женой. В тот же вечер он заговорил об этом с Настей. Та как можно сдержаннее сказала, что знает об этом, Митро раскричался, а она отвечала невпопад, лихорадочно гадая, не сказали ли цыгане брату о том, кто она такая, та молодая. Но этого, судя по всему, Митро не знал.

Жизнь покатила своим чередом. Год спустя женился Гришка, за ним – второй сын, Петька. В Москве снова появился князь Сбежнев, давний поклонник Насти, который, узнав о том, что она теперь свободна, немедленно сделал предложение. Настя отказала, но Сбежнев

не отступился, и сейчас, глядя на темную улицу, Настя обреченно думала: «А почему бы нет? Пять лет прошло, стоит ли еще ждать? И чего ждать?..»

В коридоре чуть слышно скрипнула половица. Кто-то осторожно поскребся в незапертую дверь. Настя очнулась от своих мыслей, провела ладонью по лбу, удивленно посмотрела на едва заметные в предрассветной темноте стрелки ходиков.

– Эй, кому там не спится? Заходи.

В комнату смущенно, боком вошел сын Илюшка, которому месяц назад исполнилось восемнадцать. Он был копией отца – впрочем, черты Илюшки были еще юношески мягкими, а улыбка – стеснительной.

– Почему не спишь, мама?

– Это ты почему не спишь? – с напускной строгостью спросила Настя. – Вон светает уже.

– Я... Я по коридору шел и смотрю – у тебя дверь открыта. – Илюшка мялся у двери, поглядывал то в окно, то на ходики, теребил в пальцах край рубахи. – Мне бы поговорить...

«Вот так и знала», – подумала Настя.

– О чем, сынок?

– Мама, я... Мне... Жениться я хочу.

– Господи, только тебя мне не хватало, – после короткого молчания горестно сказала Настя, берясь за голову. – И что вы все в хомут торопитесь, скороспелки?.. Садись сюда. На ком?

* * *

Рыбачий поселок, состоящий из трех десятков глиняных хаток, покосившейся православной церкви, кабака у самого моря и рыбной лавки, находился в двух верстах от Одессы. Помимо рыбаков, здесь обитало множество всякого сброда: греки-контрабандисты, приплывающие из Балаклавы на бокастых фелюгах, подолгу живущие в поселке, а потом в один день вдруг пропадающие невесть куда; молдаване в длинных белых рубахах и высоких шапках, занимающиеся виноделием и скупкой краденого; мрачные турки со своими безмолвными женами и черномазыми крикливыми детьми; говорливые евреи, которым принадлежала вонючая, никому в поселке не нужная рыбная лавка. Лавку держал старый Янкель, и на сомнительный доход от нее кормились человек тридцать Янкелевой родни. По соседству с евреями обитали румыны-конокрады, за конокрадами селилось грязное голосистое семейство нищих гагаузов. Жили в поселке болгары, албанцы, украинцы, поляки, сербы, русские... Жили мастеровые, воры, бродяги, кочевые торговцы, холодные сапожники, скупщики краденого, гадалки, коновалы, кузнецы... Весь этот грязноватый шумный народ появлялся в поселке невесть откуда и невесть куда потом исчезал, никого этим не интересуя.

Полиция Одессы старалась не появляться в поселке без крайней нужды; горожанам тоже нечего было здесь делать, и белая каменистая дорога, ведущая в город, оживала лишь на рассвете. Первыми в Одессу отправлялись молдаване-молочники с корчагами простокваши, кругами сыра и творогом, нагруженными на арбы; за ними двигались румыны с баклагами вина, сапожники-евреи со своими грязными ящиками, в которых лежали колодки, обрывки кожи и дратва, лошадиники-цыгане. А самыми последними, когда солнце было уже не розовым, а белым и стояло высоко над морем, в город отправлялись загорелые, все в солевом налете и серебристой рыбьей чешуе рыбаки, вернувшиеся с утреннего лова. Они тащили на головах огромные корзины с рыбой, креветками, мидиями. К полудню поселок пустел, лишь кое-где под заборами в тени сидели полуголые величественные турки или проскакивали теньями женщины. Между домами без всякой привязи бродили тощие коровы, лошади, козы, ишаки и черный еврейский козел по имени Шейгиц. Грязные разномастные дети носи-

лись по поселку, как стая чертей, они орали, дрались, висли на заборах и деревьях, полоскались в море и крали все, что плохо лежало. А к вечеру поселок снова наполнялся народом, красное солнце падало в море, тихие волны умиротворенно лизали песчаную косу, и трактир одноглазого Лазаря под грецким орехом на берегу открывал свои скрипучие двери. В последнее время у Лазаря по вечерам было набито битком, и немудрено: в трактире пели цыгане. И не какие-нибудь полуголые лаутары, не грязные цимбалисты, не голодные бессарабские волынщики, а самые настоящие артисты – по слухам, из самой столицы...

За печью, беспокоясь от шторма, громко шуршали тараканы. В засиженное мухами окно стучал дождь, струйка воды уже подтекла под раму и по одной капле падала на пол: тук... тук... В печной трубе голосил ветер, ветви старого платана колотили по крыше, словно желая разломать ее.

Да... Проживешь вот так на свете сорок три года, не зная, что есть на свете эта соленая лужа – море, и лысые камни, и вонючий, богом забытый поселок, а на сорок четвертом году сядешь среди всего этого на хвост и поймешь: вот она какая теперь, твоя жизнь, хочешь ты того или нет. Илья хмуро взглянул в окно, отодвинул от себя пустую миску и, сжав в кулаке кусок недоеденного черного хлеба, задумался.

Большой, мазаный, как все жилища в поселке, дом был разделен надвое ситцевой, местами рваной и залатанной занавеской. Полати беленой печи были завалены пестрыми подушками и одеялами. На стене висели две гитары, картинки, вырванные из журналов, большая фотографическая карточка Яшки, Дашки и их старшей дочери, сделанная в прошлом году в Одессе. С большого гвоздя возле двери свешивались ремни лошадиной сбруи. На припечке лениво терла рыльце рыжая кошка. «К гостям, – недовольно подумал Илья. – И кого только в такую собачью погоду принесет?»

На другой половине дома, из-за занавески, надсадно заплакал ребенок. С минуту Илья, морщась, вслушивался в его рев. Затем сердито позвал:

– Маргитка! Оглохла? Уйми его!

– У него своя мать есть! – отозвался из-за занавески молодой гортанный голос. – Сам унимай, когда тебе надо, а я к ним не присужденная!

– Получишь ты у меня сегодня...

– Ха! Пугали ежа голым задом!

Илья, нахмурившись, привстал, но в это время открылась, впустив в дом шум ливня, входная дверь. Насквозь промокшая Дашка быстро вошла внутрь. С ее шали, юбки, платка капала вода, в руках было жестяное ведро с креветками, которое Дашка с грохотом опустила на пол.

– Где тебя носит? – свирепо спросил Илья. – Дите все оборалось...

– А Маргитки разве нет? – удивилась Дашка, попутно и довольно метко награждая подзатыльниками двух проскользнувших за ее спиной в дом мальчишек. – Я в Одессе у Чамбы была, нас Яшка на дороге встретил...

– А, встретил все-таки... – проворчал Илья. – А то еще с полудня с ума начал сходить – где ты... Ты хоть бы мужу говорила!

– Но я же не знала, что так польет! – оправдывалась Дашка, переодеваясь за печью. – Чамба говорит – переждите... Мы сначала сидели у них, ждали, а потом я слышу, что дождь не кончается, только пуще делается. Ну, думаю, так и до завтра можно ждать, лучше побегим. И побежали, а тут как раз Яшка на телеге с рынка едет.

Ребенок вдруг умолк, и Илья решил, что Маргитка все-таки взяла его на руки. Но вместо Маргитки с тряпочным кульком на руках из-за занавески важно вышла четырехлетняя Цинка – курчавая, голенастая, с разбитыми и исцарапанными, загорелыми до черноты босыми ногами. Усевшись на пол у печи, она принялась качать ребенка, пронзительно напевая:

Вы мной играете, я вижу,
Для вас смешна любовь моя...

Илья усмехнулся. Цинка весело взглянула на него, высунула язык. Она, как и все Дашкины дети, была похожа на отца, и иногда Илье даже ругаться хотелось, глядя на эти татарские глаза, широкие скулы и толстые губы. Сейчас Дашка снова была на сносях, и можно было не сомневаться: к концу лета вылезет очередной арапчонок.

Ситцевая занавеска опять дернулась в сторону, в кухню вышла Маргитка, и с одного взгляда Илья понял, что жена не в духе.

– А-а, явилась наконец-то, радость долгожданная! – бросила она Дашке, даже не потрудившись понизить голос, и малыш, притихший было на коленях Цинки, снова расплакался.

– Где тебя таскало, брильянтовая? За детьми твоими кто смотреть будет? Я? Или святой Никола? Или черт морской?! Накидали полные углы, повернуться в доме негде, а сами шляются с утра до ночи, что одна, что другой! Мне, что ли, этот выводок сопливый нужен?! Давайте, давайте, плодите котят, тьфу! Навязались на мою голову, чтоб их собаки разорвали, проходу от них нету... Когда они мне поспать дадут наконец, а?! Дождусь я радости такой в своем же доме?!

Илья понимал: надо встать, оборвать, рявкнуть на нее, может, даже дать оплеуху... Но вместо этого сидел и смотрел на разошедшуюся девчонку во все глаза, чувствуя, как бегут по спине знакомые мурашки. Скандаля и крича, Маргитка делалась еще красивее, еще пуще зеленели неласковые глаза, еще больше темнело смуглое лицо, гневно сходились на переносье густые брови. Она вылетела из-за занавески без платка, и черные кудри рассыпались по плечам, спине, по застиранному ситцу розовой кофты, казалось, Маргитка до колен укутана в черную шаль. Господи, какая же красавица, чтоб она издохла... Двадцать два года ей, пять лет как замужняя, а все лучше и лучше делается, и ничем этот ведьмин огонь в ней не забьешь, так и вырывается, так и искрит! Чайори, девочка! Он ее по-другому назвать не сможет.

– Ну, погавкай у меня, холера! – вдруг послышался спокойный голос с порога, и Илья, вздрогнув, очнулся. Визг Маргитки смолк, словно отрезанный ножом. Она фыркнула, тряхнула волосами и, перебросив их на одно плечо, отошла в угол комнаты, к зеркалу.

Яшка прикрыл за собой дверь и встал, не проходя в комнату, у порога. Он был мокрый с головы до ног, и под его сапогами тут же образовалась лужа. Дети кинулись к нему со всего дома, один мальчишка, вереща, повис на шее, другой – на спине. Цинка, как старшая, подошла не спеша, не спуская с рук младенца.

– Пошли вон! – заорал на детей Яшка, но широкая улыбка свела на нет всю грозность окрика, и мальчишки даже ухом не повели. Дашка с трудом отогнала их и, нащупав на гвозде полотенце, приказала:

– Наклонись.

Яшка нагнулся, и Дашка, накинув полотенце на голову мужа, начала вытирать его мокрые волосы. Илья видел, как Яшка кряхтит от удовольствия, как он из-под полотенца пытается украдкой хлопнуть Дашку по задку и как та шепотом ругает его: «Дети... отец... ошалел?», и чувствовал беспричинную злость. Проклятый щенок... Век бы его не видеть.

Яшка вылез из-под полотенца чертом со встрепанными волосами. Стащил мокрую рубаху, сел на пороге, давая Дашке стянуть с себя сапоги, погладил по голове сунувшуюся под его руку Цинку и, казалось, только что увидел сидящего за столом тестя.

– Будь здоров, отец.

– Будь здоров, – сказал Илья, глядя в окно.

Зятя Илья не любил и догадывался, что Яшка об этом знает, но открытых ссор между ними не случалось. Илье не хотелось причинять боль дочери, а о том, что творилось в голове Яшки, он не знал и знать не хотел. С каждым годом парень все больше становился похожим на своего отца, и иногда Илье даже хотелось перекреститься: Митро и Митро, только молодой да ростом повыше. Даже Яшкин взгляд, недоверчивый, насмешливый, порой презрительный взгляд узких черных глаз, который Илья не раз ловил на себе, напоминал ему Митро. С точно такой же физиономией тот разглядывал лошадей на конном рынке, намереваясь сбивать цену. Но Яшка молчал, а если случалось обсуждать что-то с тестем, то делал это по-цыгански – со всей почтительностью к старшему, в которой Илье постоянно чудилась скрытая издевка. Но раздувать эти угли ему не хотелось. Черт с ним, с паршивцем... Дашку жалко.

Илья видел: дочери с Яшкой живет хорошо. За все пять лет ему не довелось увидеть не только ни одного их скандала, но даже услышать, чтобы Яшка повысил на жену голос. Илья только диву давался, потому что до сих пор был уверен, что такая жизнь была только у них с Настькой, и то лишь поначалу. Возвращаясь с конных базаров, Яшка всегда привозил жене то золотые серьги, то бусы, то шаль, то целый мешок конфет, то отрезы шелка. Дашка улыбалась, благодарила, складывала подарки в сундук, и в конце концов эти шали и отрезы оказывались на Маргитке. Яшка ворчал, Дашка пожимала плечами:

«Но куда же мне сейчас это носить? Посмотри на меня – опять...»

Беременной Дашка ходила постоянно, но была этим вполне довольна, и через пять лет жизни у них с Яшкой было четверо детей. Илья вздыхал про себя: хоть бы Цинка, девочка, была на мать похожа, так ведь нет... Курчавый, скуластый, узкоглазый бесенок, обезьянка, мальчишка в платье. Хотя, кто знает, может, с годами переменится.

За окном звонко прочавкали по грязи лошадиные копыта: кто-то галопом подлетел к дому. Илья вспомнил умывавшуюся кошку, поморщился: вот и гостей принесло...

– Будьте здоровы все! – поздоровался, входя, Васька Ставраки, и настроение Ильи испортилось окончательно.

Этого парня, черного, худого и подвижного, всегда лохматого, как леший, Илья терпеть не мог. Впрочем, в этом с ним был солидарен весь поселок. Никто не знал, откуда здесь появился Васька. Любые расспросы были бессмысленны, потому что десяти разным людям Васька давал десять разных ответов. Рыбаки не могли даже точно установить, какой Васька породы. Одни говорили – грек, другие – турок, третьи божились, что парень – цыган, четвертые уверенно причисляли его к евреям. Васька ни с кем не спорил, смеялся, помалкивал. Он вполне сносно болтал и по-гречески, и по-персидски, и по-еврейски, а однажды Илья заметил, что он понимает и романэс.⁷ Это было в тот вечер, когда они всей семьей выступали в трактире Лазаря и Илье показалось, что Маргитка чересчур уж ласково слушает Васькины глупости. Он буркнул ей по-цыгански:

– Не низко ли стелешься?

– Отстань, гаджо⁸ деньги платит.

– Может, еще и ляжешь с ним?

– И лягу, если не отвяжешься.

– Кнута захотела?

– Тьфу, надоел...

Илья уже был готов перейти от слов к делу прямо в трактире, но сидящий за столом Васька вдруг фыркнул в стакан, плеснув винными брызгами, быстро отвернулся к окну, и

⁷ Романэс – по-цыгански (цыг.).

⁸ Гаджо – нецыган (цыг.).

ошарашенный Илья догадался, что тот понял весь его с Маргиткой разговор с начала до конца.

Все знали, что Васька Ставраки был конокрадом, и довольно удачливым. По временам он пропадал из поселка, мог отсутствовать неделю, месяц, два. Но только рыбаки начинали с облегчением поговаривать о том, что безродного черта наверняка где-то зарезали, как Васька объявлялся: похудевший, грязный, веселый, с целым косяком лошадей. На Староконном рынке в Одессе пронзительный и гортанный Васькин голос перекрывал любой шум. Он орал во все горло, расхваливая своих «орловских скакунов». Если ему не верили, обижался почти до слез, спорил, лез лошади в зубы, выворачивал кулаком язык, тыкал в живот и в конце концов поднимал цену. Самым невероятным было то, что у Васьки охотно покупали.

Вслед за получением им денег следовал многодневный кутеж в трактире одноглазого Лазаря. Жадности в Ваське не было, гулял он до последнего гроша, угощал рыбаков, хозяина и музыкантов, плясал до упаду, подпевал цыганам неплохим тенором и засыпал прямо под столом, положив на перекладину всклокоченную голову. Через неделю гульбы Васька бродил по поселку похмельный и злой, в одних штанах, пропив и рубаху, и сапоги. А на другой день в каждом дворе начинались пропажи: то исчезнет хомут прямо от ворот конюшни, то как сквозь землю провалится новая сеть, то сгинет выстиранное белье вместе с веревкой. В трудные минуты жизни Васька не гнушался даже висящими на плетне портянками. Все знали, чьи это проделки, но поймать Ваську было невозможно. При встречах же он отрицал все на свете с оскорбленной физиономией, предлагал осмотреть свою халупу, где, кроме тараканов и голодных мышей, не было ничего, и знающие люди шли напрямик в город, на Привоз, где украденные вещи находились уже в третьих руках. Били Ваську часто, но безрезультатно: живучий, как блоха, он отлеживался, встряхивался и принимался за старое.

Судя по всему, Васька переживал очередную полосу безденежья: на нем были грязные залатанные гуцульские шаровары, а живот прикрывала потертая кожаная жилетка. Босые ноги были в грязи по щиколотку; Васька смущенно потер их одну о другую и на предложение Ильи проходить в дом и садиться за стол ответил отказом:

– Спасибо, я мокрый весь.

Илья не стал настаивать. Васька сел у порога, встряхнулся, обдав пол брызгами, улыбнулся, показав крупные зубы, из которых один клык был золотой, а другого не было вообще. С растущим недовольством Илья наблюдал за тем, как Васькины глаза – один карий, другой желтый, как у бродячего кота, – без стеснения следят за Маргиткой. А эта шалава... Нет чтобы уйти за занавеску или, на худой конец, прихватить волосы платком – цыганка ведь, замужняя, при чужом! Она, чертова кукла, об этом и не подумала. Стоит у стены спиной к этому молодому кобелю, усмехается, встряхивает распущенными волосами и наверняка ловит в зеркале Васькин взгляд. Его, Ильи Смоляко, жена! В его же доме!

– Маргитка, уйди, – едва сдерживаясь, велел Илья.

Она глянула через плечо, снова трянула волосами. Неожиданно расхохоталась на весь дом, запрокинув голову и сверкая зубами, и Васька даже привстал. Вот паскуда...

– Пошла вон отсюда! – гаркнул вдруг Яшка так, что задрожала посуда в шкафу. Брата Маргитка боялась и, перестав смеяться, юркнула за занавеску.

– Зачем пришел, парень? – остывая, спросил Илья.

– Лазарь послал. – Васька улыбался как ни в чем не бывало. – Просит вас в кабак сегодня.

– Чего ему зачесалось?

– Как чего? Погляди, как штормит! Никто в море не выйдет, все в кабак потянутся, народу куча будет! Еще и из города придут на Маргиту Дмитриевну смотреть!

– Горазд брехать-то – «из города»... Ладно, придем. Ступай.

Васька заржал на весь дом:

– Под дождь, что ли, живого человека гонишь, Илья Григорьич?!

– А... ну пережди... – спохватился Илья, мысленно помянув недобрым словом мать этого поганца. Еще и не выпроводишь его теперь... Спросил между делом: – Ты, парень, случаем не знаешь, куда у меня новая упряжь с забора девалась?

– Украли, что ли? – посочувствовал Васька. – Так откуда мне-то знать? Ты лучше поищи, может, валяется где-нибудь. У меня тоже так было. Ищешь-ищешь кнут по всему двору, и бога и черта клянeshь, а потом хвать – а он за сапогом торчит... А зачем ты упряжь на заборе бросил? Люди не святые...

– Мне вон Белаш говорил, что тебя с этой упряжью в городе на базаре видали.

– А ты ему больше верь! – с неожиданной злостью сказал Васька, и его разноцветные глаза сузились. – Может, он сам и прихватил, а на меня брешет... Знаешь что, Григорьич? По-моему, ты не за упряжь свою беспокоишься.

Из-за занавески послышался приглушенный смех. Илья медленно поднял глаза, чувствуя, как сами собой сжимаются кулаки. Васька от порога встретил его взгляд, не отворачиваясь. На его темном от загара и грязи лице уже не было улыбки.

– Ай, господи, брысь пошла, проклятая! – вдруг завопила Дашка.

Мимо стола с воем пронеслась кошка, посыпалась посуда, ударились о пол корчага, и молочный ручей торжественно потек к сапогам Ильи. Поднялся крик, писк, мальчишки кинулись к упавшей сахарной голове, Цинка с грозными воплями пыталась отогнать их мокрой тряпкой, Яшка хохотал, отвернувшись к стене, Дашка громко проклинала «эту рыжую нечисть» – словом, шум поднялся страшный. Илья только вздохнул, в который раз подумав про себя: до чего же она на Настьку похожа, хоть и не кровная дочь ей... Настька тоже всегда вовремя молоко разливала. Исподлобья он взглянул на Ваську. Тот улыбался, вертел в пальцах щепку, молчал и через несколько минут, к облегчению Ильи, ушел.

Трактир одноглазого Лазаря на краю поселка был насквозь прогнившим и держался, по выражению рыбаков, «на плаву» только за счет старого грецкого ореха, на мощный ствол которого уже несколько лет лазаревское заведение наваливалось стеной. Внутри было грязно, темно, девчонке-прислуге никогда не удавалось дочиста отмыть липкий, заплеванный пол и отскоблить грубые, залитые вином и водкой, залепленные рыбьей чешуей столы. На закопченных стенах висели связки лука, перца, чеснока и воблы, сушеная макрель, грязные полотенца и засиженная мухами до неузнаваемости икона святого Николы. Стойкой служил длинный стол, заставленный оплетенными красноталом бутылками, за столом помещался буфет с посудой и табурет, на котором восседал хозяин, Лазарь Калимеропуло – низенький, пузатый, кривоногий полугрек-полуеврей, которого ничем нельзя было удивить или напугать, такой же грязный и запущенный, как его заведение.

«Лазарь, да что ж это за гадство?! – возмущались по временам даже привыкшие ко всему рыбаки. – Ты хоть бы раз в год на Пасху стаканы мыл! Гли, муха присохла!»

«Скажите, господарь какой... – следовал флегматичный ответ. – Муха – не кобель, отшкрябай да выкинь. А не нравится – шлепай в город, к Фанкони, там без мух нальют...»

К Фанкони никто не шел: далековато, да и доходы у обитателей поселка были не те. Сюда же, к Лазарю, заглядывали рыбаки, бродяги, воры, торговцы рыбой, иногда – гулящие девки из города, контрабандисты и перегонщики табунов – народ оборванный, веселый и нетребовательный.

Сначала Лазарь не держал у себя в заведении музыкантов, считая это бездоходным излишеством. Если разгоряченные гости слишком настойчиво требовали музыки, то Лазарь, сердито бурча, вытаскивал из-за стойки жестяную помятую трубу и принимался старательно дуть в нее, время от времени вытаскивая инструмент изо рта, чтобы пропеть по-гречески непристойные куплеты. Труба завывала, как мартовский кот, голос у Лазаря был противный, слуха не было вовсе, и рыбаки, бранясь, кидали прямо в него медные пятаки:

«На, дьявол одноглазый, замолчи только! Чтоб тебе черти на том свете так пели!»

Довольно быстро Лазарь понял, что выгоды от его музицирования немного, и вынужден был с зубовным скрежетом нанять старика-еврея Шмуля со скрипкой. Но от Шмуля тоже было мало пользы: он был стар, почти глух, обладал скверным характером и играл лишь то, что ему хотелось, а хотелось Шмулю обычно еврейских поминальных песен да изредка – невесть где подслушанного марша из оперетты «Продавец птиц». Марш рыбакам понравился, они даже сочинили для него препохабнейшие слова, кои и исполняли хором, размахивая стаканами и воблой, под скрипку Шмуля. Но беда была в том, что настроение сыграть опереточный марш к старику подкатывало не чаще раза в месяц. А все остальные вечера он, закатив к потолку глаза и раскачиваясь, как маятник, извлекал из скрипки заунывные, полные скорби мелодии. Вскоре Лазарь понял, что пора спасать коммерцию. Плюясь и матерясь, он подсчитал кассу и пошел уговаривать Илью Смоляко, не так давно появившегося в поселке со своей семьей.

Выслушав Лазаря, Илья согласился – не столько для себя, сколько для своей молодежи, которая тосковала по московским выступлениям. Конечно, это было совсем не то, что в столице. Конечно, здешней публике было далеко до князей, графов и купцов-миллионщиков. Конечно, оглушительные восторги рыбаков и контрабандистов, их топанье сапогами в гудящий пол, свист и гогот никак не напоминали аплодисменты в ресторане Осетрова. Но все же был в этих выступлениях слабый отголосок прежних времен. Однажды Илья даже поймал себя на мысли, что ждет этих вечеров, и удивился, поняв, что радуется тому, от чего открешивался всю жизнь, как от чумы. Настя в свое время была права, попрекая мужа тем, что у него в голове одни лошади: в молодости – чужие, попозже – собственные. А его голос, который пол-Москвы называло «оригинальным», «чудесным» и «божественным», тот самый тенор, которым Илья в равной мере сводил с ума и пьяных купцов, и профессоров консерватории, – что ж... он и внимания на этот свой голос не обращал никогда. Есть – и слава богу, пропадет – не заплакал бы... Может, и неправильно это было. Может, надо было слушать Настьку, петь в ресторанах, а не драть глотку на конных базарах? Не хотел. Не умел. Не приучен был. И пел перед ресторанной публикой через силу, сначала из-за Настьки, а потом из-за Маргитки. Пусть девочка хоть так потешится. Пора, в самом деле, бросать эту вонючую дыру и перебираться в какой-нибудь город, хотя бы и в ту же Одессу. Зря он боится, надо уезжать. От Васьки этого подальше.

Обо всем этом Илья думал, сидя вместе с Маргиткой и Яшкой (беременная Дашка осталась дома) в маленькой комнатке за помещением трактира. Это было единственное чистое место во всем заведении. Кровать с железными шарами была покрыта лоскутным одеялом, на подоконнике валялись ленты и дешевые мониста, на столе лежала сушеная дыня, макрель с оторванным хвостом, колода засаленных карт, бубен, обшитый полинявшими, когда-то красными лентами, и осколок зеркала. Со старого комода смотрел неизменный святой Никола – покровитель рыбаков. Комнатка принадлежала цыганке Розе по прозвищу Чачанка, тоже выступавшей в трактире Лазаря.

Чачанка пришла в поселок прошлой осенью по дороге из Одессы – босиком, в синей юбке, рваной оранжевой кофте и красной косынке на курчавых волосах. В поводу Роза вела молодую гнедую кобылу под седлом с навьюченным на нее узлом, жевала истекающий соком помидор и с любопытством поглядывала по сторонам. Рядом с ней шагал сын – грязный мальчишка лет двенадцати. Вся эта процессия прямоком двинулась к трактиру Лазаря. Роза вошла внутрь, непринужденно осмотрелась, поморщилась, метко запустила помидором в шмыгнувшую по полу крысу, подошла к стойке, за которой дремал Лазарь, и весело спросила:

- Что, ненаглядный, деньги любишь?
- Кто ж нынче не любит?

– Буду у тебя петь – золоту счет потеряешь. Принимай!

Позже, в кругу смеющихся рыбаков, Лазарь плевался, проклинал святых Николу и Спиридиона и божился, что сам не знает, за каким лешим принял цыганку: «Заколдовала, черт голозадый! Заворожила! Завтра же выгоню!» Но «голозадый черт» расположился в задней комнате трактира – и, судя по всему, надолго.

То, что Роза приехала одна, без табора, и более того – без мужа, немедленно дало пищу для разговоров. Подливало масла в огонь и то, что она поселилась у Лазаря, а не рядом с семьей Ильи Смоляко: обычно цыгане держались друг друга. Сначала ей приписывали сожительство с Лазарем, но трактирщик отказался от такой чести, и бешенство, с которым он это делал, убедило рыбаков в том, что удочку Лазарь все-таки закидывал, но явно получил отказ.

«И то, зачем он ей, пьяница кривой? Баба-то красивая, в соку...»

Красивой тридцатилетняя Роза не была, но было что-то неудержимо привлекательное в ее невысокой и подвижной фигуре, загорелых руках, всегда смеющихся глазах, остром подбородке, недлинных курчавых волосах, выбивающихся из-под платка, в манере быстро и резковато, всегда с шуткой разговаривать, звонко, по-девичьи смеяться, запрокидывая голову и высовывая язык... Всего этого было достаточно, чтобы мужчины поселка предприняли ряд визитов в заднюю комнату трактира. Сначала Роза выпроваживала рыбаков вежливо, но через неделю терпение ее лопнуло. Весь трактир был свидетелем того, как из комнаты Розы кубарем вылетел огромный, как медведь, черный и рябой контрабандист Белаш, а за ним, потрясая кремневым ружьем Лазаря, выскочила полуодетая, негодующая Роза. Выпала она, конечно, мимо Белаша, вхолостую, но с того вечера ее оставили в покое, и Роза зажила в поселке так, как ей, наверное, хотелось: вместе со всеми и на отшибе ото всех. В считанные дни она раздобыла себе легкую плоскодонную шаланду и на рассвете, поражая весь поселок, невозмутимо выгребала в море. Возвращалась к полудню, усталая, веселая, выкидывала на берег бычков и скумбрию, вытаскивала ведро креветок или мидий. Днем уходила в город, шаталась по Привозу с корзинами рыбы, иногда гадала, сидя на углу, на картах или бобовых зернах, иногда заходила в лошадиные ряды и лезла к барышникам со своими советами – по признаниям кофарей-цыган, весьма дельными. А вечером пела в трактире Лазаря, колотя в свой старый бубен, плясала, вскочив на стол, и весь зал звенел от ее высокого и звонкого голоса. О себе Чачанка никогда не рассказывала. Не пустилась она в откровения и с цыганками, и обиженная Маргитка даже заявила о том, что Роза вовсе не их породы. Мол, разве будет цыганка сторониться своих, жить одна? Разве цыганское дело ловить рыбу? Разве сядет цыганская женщина верхом на лошадь? Разве осмелится она давать мужчине советы, как выгоднее купить или продать коня? Роза посмеивалась над такими разговорами, но никого не переубеждала. Ее сын с утра до ночи носился по поселку с ватагой других мальчишек, и от него, так же как от его матери, нельзя было вывести ни слова.

Стоило Илье вспомнить о Розе – и она тут же появилась на пороге комнаты. Чачанка никогда не переодевалась для выступления, оставаясь в своей синей широкой юбке с оборкой и оранжевой блузке, и лишь набрасывала на плечи зеленую шаль с кистями. Так она была одета и сегодня. Войдя, Роза подошла к столу, взяла с него бубен, весело потыкала пальцем в перегородку.

– Чего сидим, ромалэ? Второго пришествия ждем? Слышите, как рыбачки разорались? Пора выходить, не то они Лазарю весь кабак разнесут. С города Левка Шторм со своими мальчишками пришел, так уже по лампам стрелять примеряются.

– О, как надоели они мне все... – зло пробормотала Маргитка. – Нога болит, не пойду плясать сегодня. Роза, спляшешь за меня?

– Ты что, милая? – удивилась Роза, нещадно дергая гребешком свои спутанные кудри. – Я против тебя старуха! Начать начну, а потом уж ты сама давай...

Дверь снова распахнулась, впустив рев пьяных глоток и стук стаканов по столам, и на пороге разгневанным циклопом возник Лазарь.

– Всех повыгоняю! – пообещал он, сверкая глазом. – Вы что, черти, погрома ждете? Зачем я вас держу?

– Это не ты нас, золотой, а мы тебя держим, – лениво отозвался Илья, вставая. – Мы уйдем – с чем останешься? Опять начнешь в свою трубу дуть? Ладно, ромалэ, идем...

Появление цыган встретили восторженным воем, топотом сапог, свистом. Роза топнула каблуком, взмахнула бубном и запела – как обычно, не дожидаясь вступления гитар:

Не держите мене, мама, не вяжите дочку,
Я в окошко утеку темною ночью!
Где гуляет мой фартовый, козырной мальчонка?
Позабыл, злодей-обманщик, за свою девчонку!

Эту песню Роза принесла из Одессы. Но пела она ее на цыганский манер и так ловко, словно подслушала не в каком-то воровском притоне, а в кочевом таборе. Шум за столиками не только не утих, но сделался еще сильнее, когда Роза, ударив в бубен и бросив его через весь трактир опешившему Лазарю, кинулась в пляс между столиками. Гости заорали от восторга; десятки загорелых, грязных, просоленных, покрытых татуировками рук потянулись к Розе, а она, уворачиваясь, грозила пальцем, показывала язык и била без удержу тропачи на грязном полу. Ее поймал, подкравшись сзади, контрабандист Белаш, взметнул вверх на своих огромных руках, поставил на стол, и рыбаки, повскакав с мест, помчались к этому столу. Лазарь кинул Розе бубен. Она ловко поймала, заколотила в него и начала отплясывать прямо на столе, под звон содрогающихся бутылок и стаканов. «Хороша старуха, – подумал Илья, глядя на вертящееся среди рыбаков оранжевое пятно. – За полминуты весь кабацк завела, даже вон Лазарь за стойкой прыгает». Илья скосил глаза на Маргитку. Как и ожидал, увидел злое, надменное лицо. Да... Когда эта девочка стерпеть могла, чтобы не на нее, а еще на кого-то смотрели? Глядишь, сейчас и забудет, что нога болит...

Илья не ошибся: в тот же миг Маргитка широко улыбнулась, кинула брату через плечо: «Играй!» и, вскинув руки, с места, без выходки понеслась плясать. И больше Илья не видел никого и ничего. Он даже сделал шаг вперед и встал не за спиной Маргитки, а слева от нее, чтобы видеть это смуглое лицо, зелень глаз, качающиеся в такт косы, серьги, мониста. И узенькие носки туфель Маргитки так же, как когда-то в Москве, выглядывали из-под подола красной юбки, и такими же ловкими, гибкими, отточенными были ее движения, и так же мелко частили плечи, и гнулась она, как молодая ветка, и не глядя кричала гитаристам: «Авен,⁹ авен, авен!», ускоряя темп. Даже закончившая пляску и спрыгнувшая со стола на колени Белаша Роза смотрела на Маргитку с восхищением. Рыбаки сгрудились вокруг плясуньи, хлопали в ладоши, свистели. А она носилась перед ними, поднимая ветер шалью, била плечами, кричала Илье и Яшке:

– Еще! Еще! – и они послушно ударяли по струнам.

И лишь один раз Илья упустил ритм: когда из-за спин рыбаков к Маргитке вылетел, дробя пол сапогами, лохматый, скалящий зубы Васька Ставраки. Сейчас он уже не выглядел полуголым босиком: на Ваське были новые шевровые сапоги, тельняшка и широкий кожаный пояс. К облегчению Ильи, Маргитка взглянула на Ваську как на пустое место, отвернулась, понеслась по кругу дальше. Из ее косы вылетела и завертелась по полу блестящая монетка. Васька нагнулся, подхватил монетку, деловито попробовал на зуб, сунул в рот и, закинув руку за голову, полетел вслед за Маргиткой. И тут Илья ничего не мог поделать:

⁹ Авен – давайте (цыг.).

гости трактира имели право плясать с цыганками. Вслед за Васькой попрыгали в круг и остальные, затопал, как медведь на привязи, Белаш, застучал деревянной ногой в пол дед Ершик, выскочил из-за стойки, размахивая полотенцем, Лазарь, завертелась, подбоченившись и выставив острые локти, посудомойка Юлька, и весь трактир заходил ходуном. Левка Шторм за дальним столиком все-таки не утерпел и выстрелил в одну из керосиновых ламп, Лазарь возмущенно заорал, но и выстрел и крик потонули в диком пьяном гаме и вое ветра за окном.

Буря на море после полуночи стала стихать. Дождь уже не колотил в окна упругими струями, а вяло, чуть слышно постукивал по стеклам. Гости Лазаря начали расходиться. Те, что были потрезвее, побрели проверять вытасщенные на берег шаланды и сети, кто-то, шатаясь, направился домой, кто-то заснул мертвым сном прямо под столом. К двум часам ночи трактир опустел. На затоптанном полу поблескивало битое стекло, зевающая Юлька сметала со столов рыбы скелеты, хлебные крошки и изюмные косточки. У окна спал, уронив на столешницу черную встрепанную голову, Белаш. Рядом, у кадушки с солеными перцами, прислонившись к стене и посасывая чубук длинной мадьярской трубки, сидела Роза. Ее губы складывались в сонную улыбку, словно Чачанка вспоминала что-то приятное. Возле стойки Илья ругался с хозяином:

– Ну прибавь хоть рубль, Лазарь, совести у тебя нет! Полночи глотки драли, как грешники в аду, и все задаром?

– Ничего не задаром. Ничего не прибавлю. – Лазарь был не в духе из-за утраты керосиновой лампы. – Хватит с вас, и так заведение в убытке. Совсем очумели, босяки проклятые, раньше хоть посуду били, а теперь и освещение колотят!

Рядом на перевернутом столе сидел Яшка, жевал соленый помидор, захлебывая его вином прямо из бутылки. Илья покосился на него, махнул рукой на насупленного Лазаря и пошел к двери.

На небе сквозь тучи продиралась красная луна. Когда Илья вышел на крыльцо, луна как раз вынырнула из облаков, и он сразу увидел Маргитку. Она стояла в нескольких шагах, у коновязи, а перед ней, удерживая в поводу своего сильного и злого вороного жеребца, стоял Васька Ставраки. Илья услышал, что они говорят о чем-то, но ветер относил слова, и понятно было лишь то, что Маргитка злится. Она несколько раз резко взмахнула рукой, плюнула на дорогу, постучала кулаком по лбу. Васька, прижав руку к груди, казалось, оправдывался. Увидев подходящего Илью, он умолк на полуслове, прыгнул в седло и улетел в темноту – лишь прошуршала галька под копытами вороного. Маргитка продолжала стоять у коновязи. Илье даже показалось, что она смотрит вслед Ваське.

– Что ему надо? – ровно спросил он.

– Ничего, – пожав плечами, отозвалась Маргитка. Стянула с перекладины ворот свою шаль и быстро зашагала по дороге. Илья подождал, пока мимо него пройдет Яшка, ведущий в поводу свою кобылу, отвязал буланого и пошел следом за ними. На мутно белеющей в темноте дороге не было ни души, лунный свет чередовался с призрачными тенями облаков, монотонно вскрикивала какая-то ночная птица, и Илья шел не спеша, надеясь по дороге успокоиться.

Идти было недалеко. Впереди уже маячил дом с горящим окном, ворота были открыты настежь. Слабый свет из окна падал во двор, и первое, что увидел Илья, подойдя к дому, была... висящая на заборе упряжь. С минуту он смотрел на нее, затем недоверчиво взял в руки. Это была та самая упряжь, новая, еще скрипящая, с медными заклепками и махрами, которая бесследно пропала три дня назад.

– Да что ж это такое... – пробормотал Илья, растерянно перебирая в пальцах супонь.¹⁰

¹⁰ Супонь – ремень для стягивания хомута под шеей лошади.

– Ослеп? Упряжь твоя, – послышался спокойный, чуть насмешливый голос.

Илья, вздрогнув, поднял голову. Маргитка стояла за его спиной. Свет из дома падал на ее лицо. Она усмехалась краем губ, вертела во рту ветку шиповника.

– Откуда она взялась?

– Васька принес.

– С чего бы это ему приносить? – медленно спросил Илья.

– Я велела.

– Ты? Кто ж ты ему такая, чтобы приказывать?

– А какая тебе разница? – спокойно сказала Маргитка, выбрасывая шиповник и обходя мужа. – Упряжь-то – вон она. Целая. Пляши, морэ, радуйся!

– Стой! – крикнул Илья ей вслед. Маргитка не останавливалась, шла дальше, уже шагнула на ступеньку крыльца. Илья догнал ее, схватил за руку, дернул к себе. – Стой, тебе говорят! Шалава! Говори, что у тебя с ним, с Васькой? Что?!

Несколько мгновений Маргитка молча, не пытаясь освободиться, смотрела на него, – а затем вдруг с силой вырвала руку, и в темноте блеснули ее зубы: она расхохоталась:

– С Васькой?! У меня?! Да ты ошалел, что ли? Ха! Дэвлалэ, да вы посмотрите только на...

Одним ударом Илья сбил ее на землю. Хохот тут же оборвался, Маргитка обхватила голову руками и заголосила на весь поселок. Илья рывком поднял ее; молча, тяжело дыша, ударил еще раз, другой, третий, снова швырнул на землю, снова ударил. Маргитка уже не кричала, а выла, ее красная юбка была вся измазана грязью, руки, тоже по локоть в грязи, закрывали растрепавшуюся голову. Бешено оглядевшись, Илья рванул с забора злополучную супонь... но дверь дома распахнулась, и на двор вылетел Яшка. Он тут же кинулся к лежащей ничком сестре, и Илья невольно опустил руку с супонью. С минуту они с Яшкой молча смотрели друг на друга. Илья не выдержал первый, длинно, сквозь зубы выругался, отшвырнул супонь и отвернулся к забору. Он слышал ворчание Яшки, уговаривающего сестру подняться, всхлипы Маргитки, чавканье по грязи шагов к дому. Наконец хлопнула дверь, все стихло, и Илья обнаружил, что он со всей силы сжимает сырые от дождя колья забора и что руки у него дрожат.

Вот так и знал, что без этого не обойдется. С самого утра началось – и вот вам, приехали, выпрягай, морэ... Он, шатаясь, перешел двор, остановился у колодца-журавля, неловко потянул веревку и услышал, как внизу коротко плеснуло, погружаясь в воду, ведро. Вытащив и с трудом (руки еще дрожали) установив его на влажном срубе, Илья припик к воде, окунул в нее лицо, чуть не захлебнулся, судорожно вдохнув и вылив при этом полведра себе на сапоги. Затем он оттолкнул почти пустое ведро, и черная палка журавля со скрипом поднялась, уткнувшись прямо в красную луну. Илья с шумом выдохнул, сел на сочащийся каплями сруб колодца, закрыл глаза.

Господи... Ведь он ее так и убить мог. Спасибо, Яшка выскочил. Сопливый мальчишка, щенок, лезет не в свое дело... но при нем рука не поднимается. Тьфу, дурак старый, разошелся... и из-за чего? Ежу понятно, что ничего у Васьки с Маргиткой не было и быть не могло. Ведь случись этот грех – о нем давным-давно гудел бы весь поселок. Сам бы Васька и рассказывал на каждом углу, что отбил жену у Ильи Смоляко. А разговоров нет, нет даже шепотка за спиной, так знакомого Илье, нет косых и насмешливых взглядов баб, и их мужья не щелкают сочувственно языками, а раз так... А раз так, то чего же он с ума сходит? Чего бесится? Разве мало девочка с ним намучилась? Плюнет она когда-нибудь на такую жизнь и уйдет. И ничего не испугается со своей молодостью и красотой, за которой любой, хвост задравши, побежит. А он, он, Илья Смоляко, с чем останется тогда? С этой растреклятой упряжью? Илья зажмурился. Хрипло, тихо, сквозь зубы позвал:

– Чайори-и...

– Я здесь, Илья, здесь.

От неожиданности он чуть не упал в колодец. Заплаканная, притихшая Маргитка стояла рядом. Помедлив, Илья молча подвинулся. Маргитка так же молча, подобрав юбку, усеялась на сруб рядом с ним. Вздыхнув, вполголоса спросила:

– Ну, доволен теперь?

Он молчал.

– Сто раз тебе говорила – не трогай лицо. Как я теперь с такой сливой под глазом выступать буду? И губу раздуло... В другой раз сразу убивай. В колодец сбросишь, а людям скажешь, что с любовником сбежала.

Илья виновато тронул ее за плечо. Ждал, что отстранится, но Маргитка со вздохом накрыла его руку своей. Минут пять они сидели не разговаривая. В доме Дашка погасила лампу, и на потемневшем дворе отчетливее проявились лунные пятна. А вскоре и луна ушла в тучи, и о том, где находится Маргитка, Илья мог угадать только по шепоту.

– Ну, скажи ты мне, что с тобой? Сдурел совсем? Ты подумай, черт бешеный, на кой мне этот Васька сдался?!

– Не говори ты мне даже про него...

– Нет, буду говорить! А ты слушать будешь! Думаешь, я от тебя так просто откажусь? Думаешь, ты мне дешево достался? Избавиться от меня думаешь? А вот кукиш тебе с маслом в постный день! Не дожدهшься, морэ, не уйду! Кнутом погонишь – не уйду! Да от кого другого я бы это все терпела, а? От Васьки, что ли, голодранца вшивого?!

– Липнет же он к тебе. Что я, слепой?

– И что с того? Ко мне и допрежь липли, забыл? А выбрала я, на свою голову, тебя, каторжного.

– Зачем ты к нему с упряжью привязалась?

– А что? Упряжь-то новая была, хорошая, слава богу, он ее продать не успел. Ты же, Илья, с барышом остался! И она при тебе, и я – без убытку... – Маргитка все-таки отвела его руки, снова села на сруб, вздохнула. – Знаешь что, Илья? Сегодня – ладно, черт с тобой... но больше ты меня не трогай. Хотя бы до осени. А то, не дай бог, опять...

– Что «опять»? – не понял он. Маргитка помолчала. Опустив голову, чуть слышно сказала:

– Я же, Илья, снова...

– Д-девочка... – он наконец понял, глядя, как Маргитка смущенно гладит свой живот. – Маленькая... Отцы мои! Да что ж ты молчала-то? Сколько?!

– Четвертый месяц...

– Чайори... Да если б я знал... Я бы тебя ни одним пальцем... Да что ж ты, дура, не говорила-то ничего, а?!

– Ты что, не цыган? – разозлилась Маргитка. – Кто про такое говорит?! Вон Дашка до последнего молчит, пока фартук не встопорщится! И я бы молчала, только боюсь... Боюсь... – неожиданно она заплакала.

Совсем сбитый с толку Илья обнял ее худенькие плечи, и Маргитка повалилась головой ему на грудь.

– Боюсь я, господи, Илья... Так боюсь... Вдруг и третьего выкину? Что тогда? Ты же меня броси-и-и-ишь...

– Молчи... Ошалела? Как я тебя брошу? Куда я тогда денусь?

– Куда-куда... В Москву вернешься. У тебя там жена законная.

– Дура! – сказал он, отворачиваясь.

Маргитка испуганно умолкла. Но тут же ахнула, всплеснула руками и вскочила:

– Ой! Ой! Илья! А буланый-то? Буланый-то твой так по улице и бродит?! Ты что, не расседывал?!

– Ох... – спохватился он, вставая.

– Ну, вот вам, люди! А потом жалуется – пропадает все! – Маргитка потянула его за руку. – Идем искать! Вот с таких-то дураков Васька и жив!

Буланого, к счастью, никто не увел. Он мирно переминался с ноги на ногу у плетня и обжевывал соседскую черешню. Оттолкнув Илью, Маргитка сама повела жеребца в конюшню, ворча, расседлала, принесла ведро воды. Илья не мешал ей. Незаметно отошел в пристройку, наполовину заваленную степным, пахнущим полынью сеном, улыбнулся в темноте и негромко позвал:

– Чайори!

– Чего тебе? – неохотно отозвалась она.

– Поди.

– Зачем?

– Смотри, что нашел.

Маргитка за стеной, видимо, колебалась, но любопытство взяло верх, и вскоре она уже стояла на пороге сарайчика, недоуменно вглядываясь в темноту.

– Илья, ты где? Что ты нашел?

Он увлек ее за собой так быстро, что Маргитка не успела даже ахнуть. Повалился вместе с ней в колкое, пахнущее горечью сено, задыхаясь, уронил голову на молодую, теплую грудь.

– Илья! Да ты что? Илья! Черт бешеный, пусти! – Маргитка, хохоча, отбивалась, засыпала его охапками сена. – Пусти! Пусти! Да что ж это такое, бог ты мой... Илья... Ну-у-у... Ох, Илья... Про-кля-тый... ненаглядный мой... Подожди... Подожди, порвешь... Ох... Ах... Стой... А-а-ай...

В открытую дверь сарайчика изумленно глядела луна. За стеной негромко всхрапывали лошади. Буланый не спал и бродил по конюшне, шурша соломой. Луна заходила. Близился рассвет. Илья лежал неподвижно, смотрел на опускающийся красный диск, гладил по волосам Маргитку. Она давно спала, прильнув к нему. Девочка. Его счастье, его радость, последнее, что у него осталось. Она здесь, рядом, она никуда не денется от него. Отчего же так саднит сердце? Отчего он снова думает о том, что давно прошло, чего не вернуть, никогда не исправить, не переделать? Пять лет прошло, незачем вспоминать... Но как забудешь, как уходил на рассвете из собственного дома, уходил, не прощаясь с детьми, с Настей? У нее хватило сил отпустить его, но каким могло бы быть их прощание? Он уходил, стараясь ни о чем не думать, а в мыслях вертелось лишь одно: Балаклава, Маргитка, ждет ребенка... Что было с ним тогда? Горячка, болезнь, одурь?

В Балаклаве Маргитки он не нашел. Тамошние цыгане сказали Илье, что семья Яшки с полмесяца назад уехала неизвестно куда. Целый месяц он искал их по всему Крыму, и вот на одном рынке встречный цыган на вопрос Ильи протяжно зевнул и переспросил: «Арапо-скирэ? Москватар?»¹¹ А-а... За окраиной живут, с крымами».

Когда он верхом прилетел на дальнюю окраину города, где жили крымские цыгане-кузнецы, небо уже потемнело и море затянулось алой закатной пленкой. Старуха-цыганка, вся обвешанная монистами, жуя беззубым ртом, показала ему на крохотную глиняную хатку. Через грязноватый, покрытый побелевшим лошадиным навозом дворик тянулась веревка. На ней полоскались под ветром цветные тряпки, и Илье сразу же бросилась в глаза зеленая шаль с яркими маками. Шаль Маргитки. Значит, здесь... Руки казались чужими, когда Илья торопливо привязывал повод лошади к перекладине забора. Из дома донесся знакомый гор-танный голос:

¹¹ Из рода Арапо? Московские?

– Яшка, ты? Чего так рано? – и на крыльцо выбежала Маргитка.

Она страшно изменилась за эти полгода вдали от него, еще больше похудела, осунулась. Черный вдовий платок, низко надвинутый на лоб, старил Маргитку на десять лет, лицо потемнело так, что казалось сожженным. Зеленые глаза, которые полгода не давали ему спать, смотрели тревожно.

Наверное, он тоже изменился, потому что Маргитка, загородившись ладонью от закатного солнца, долго и удивленно разглядывала Илью, явно не понимая, что за цыгана принесло на двор на ночь глядя. А потом она закрыла глаза. Глухо, едва разжимая губы, спросила:

– Ты зачем приехал? За ребенком? Он умер.

Илья молчал, не зная, что ответить. Неприкрытая враждебность Маргитки огорошила его. Это была уже не та девочка-плясунья с тонкими руками, лукавой улыбкой, которую он любил, к которой рвался ночи напролет. И как разговаривать с этой женщиной во вдовьем платке, с затравленным взглядом, Илья не знал.

– Не бойся, – наконец сказал он. – Я насовсем приехал. К тебе. Все бросил. Всех. Как ты хотела.

Маргитка не отвечала ему. Илья понял – все. И молча начал отвязывать от забора повод. Маргитка позволила ему это сделать, позволила взяться за луку седла, сесть верхом... и кинулась опрометью с крыльца, раскинув руки.

– Илья!!! – хлестнул его страшный, грудной крик.

Илья едва успел спрыгнуть с коня, поймать Маргитку в охапку, прижать к себе. Она кричала не переставая, голосила что-то бессвязное, заливалась слезами, некрасиво оскалив рот, и Илье приходилось напрягать все силы, чтобы не выпустить ее из рук.

– Ну... ну... Ну, девочка, все... Успокойся, маленькая, прошу... Не уйду я никуда. Теперь совсем с тобой останусь. Уймись, не кричи, люди сбегутся, цыгане...

– Да что мне цыгане... Что мне твои цыгане... – бормотала она, отталкивая его руки и тут же ловя их, чтобы покрыть неловкими поцелуями. – Если бы ты знал, проклятый, как я жила... Полгода, полгода как я жила... Я же... я не ждала тебя... Что у вас случилось? Дашка сказала, что ты с ней, с Настькой, навсегда, а ты... Почему ты здесь?

– Потому что... Все, чайори. Все. Не знаю, как эти полгода прожил. Не могу без тебя.

Скрипнули ворота. Илья поднял голову... и встретился взглядом с ошарашенными глазами Яшки. Тот стоял посреди двора, держа в поводу рыжую кобылу, и с открытым ртом смотрел, как его тесть обнимает его сестру. Кобыла была впряжена в татарскую арбу с огромными колесами, а на арбе восседала, поджав под себя ноги, Дашка. Некоторое время во дворе было тихо, лишь похрумкивала кобыла. Илья даже не сообразил, что надо бы хоть из приличия отпустить Маргитку. А та, уже заметившая брата, испуганно смотрела на него, и Илья почувствовал, что она дрожит.

Первое слово принадлежало Дашке. Она боком слезла с арбы, оправила юбку и спокойно, словно они расстались час назад, спросила:

– Дадю?¹²

– Да, я, – машинально ответил Илья.

Дашка, глядя невидящими глазами в небо, чуть улыбнулась.

– Знала, что придешь. – И, полуобернувшись к мужу, сказала: – Яша, пойдем в дом. Я тебе расскажу.

Яшка послушно, как теленок, тронулся за женой, забыв даже поздороваться. Он сделал это полчаса спустя, когда вышел на уже темный двор и сдержанно пригласил тестя заходить. За эти полчаса Илья успел решить, что ни объяснять ничего, ни оправдываться перед маль-

¹² Дадю – отец (цыг.).

чишкой он не будет, но Яшка повел себя так, будто все случившееся было в порядке вещей. С того дня в его глазах зажглась та недобрая, презрительная искра, которая доводила Илью до бешенства. Тем более что ответить на этот взгляд ничем было нельзя: Яшка молчал, и Илья понимал, что молчанию парня он целиком обязан дочери. Судя по всему, из любви к жене Яшка согласился терпеть тестя. За пять лет между ними не случилось ни одной ссоры.

В первую ночь они с Маргиткой не спали. Лежали в потемках обнявшись, и она, спрятав лицо у Ильи на груди, все говорила и говорила, и всхлипывала, и снова рассказывала, как жила без него. Илья узнал, как они с Яшкой вдвоем убежали из Москвы, как не было денег, как они мотались по гостиницам и постоялым дворам, понемногу распродавая Маргиткины украшения, как она пыталась гадать, не зная толком, как это делается, как бросила гадание, заметив, что богатые мужчины, которых она хватала за рукав, не слушали ее рассказней, а тарасились на нее саму. А живот все рос, Маргитку тошнило день ото дня все сильнее, вскоре она уже совсем не могла есть... И тут им повезло: в Ялте Яшка встретился с кэлдэрарами¹³ – барышниками, которые знать не знали московских цыган. В тот день Яшка попытался заставить сестру надеть вдовий платок, но она отказалась наотрез. Не помогла ни Яшкина ругань, ни две оплеухи, ни угрозы бросить ее, беременную шлюху, одну в трактире подыхать с голоду. Маргитка лишь плакала и отказывалась.

Яшка, конечно, был прав. Прийти к цыганам с беременной сестрой было невозможно, Маргитку тут же назвали бы проституткой, с ними обоими перестали бы здороваться, а об общих делах с кофарями¹⁴ можно было бы забыть. Так было всегда в цыганских таборах. Назвать Маргитку замужней тоже было нельзя: что они смогли бы ответить на неизбежные вопросы о том, где ее муж и почему она, беременная, кочует не с семьей мужа, а с братом. Вариант был один: вдова. Но Маргитка всерьез боялась, что этим накличет на Илью смерть, и, ничего не объясняя, напрочь отказывалась повязать вдовий платок. В конце концов Яшка плюнул, обругал бога, черта и Маргиткиных родителей и согласился назвать ее собственной женой. К счастью, они, сводные брат и сестра, не были похожи. На это Маргитка с грехом пополам согласилась, и зиму они прожили с кэлдэрарами в Ялте. Яшка понемногу втянулся в лошадиные дела, менял, продавал, ездил с цыганами в табунные степи за полудикими киргизками, перегонял их в Кишинев и Одессу. Маргитка училась гадать, торговала с цыганами медными тазами и кастрюлями, которые делали мужчины. Когда ей остался месяц до родов, Яшка решил, что можно ехать за Дашкой в Москву. И уехал. Через два дня после его отъезда Маргитка, находясь одна дома, подняла тяжелый таз с бельем. И тут же упала в лужу разлитой воды, среди мокрого тряпья. Боль была такая, что она не могла даже кричать. Лишь утром ее нашли цыганки. Маргитка разрешилась до срока мертвой девочкой.

Через месяц вернулся Яшка с молодой женой. Он пришел за Маргиткой один, ночью, и на рассвете они уехали из кэлдэрарского поселка, бросив дом и почти все нажитое добро. Что смогли взять с собой – унесли, лошадей Яшка продал заранее. Остаться было нельзя: ведь теперь, при Дашке, как можно было дальше выдавать Маргитку за свою жену?

«Если бы не твоя Дашка – он бы меня убил, наверное», – убежденно сказала Маргитка, рассказывая Илье о тех днях. Слушая ее, Илья был готов придушить Яшку и в то же время чувствовал к парню невольное уважение. Все же тогда Яшке было семнадцать лет, и он остался один, без денег, без работы, без родных, с беременной невестой от кого сестрой на руках. Слава богу, помогли полученные в свое время навыки на Конной площади в Москве... Они втроем уехали из Балаклавы, и Маргитке все же пришлось надеть вдовий платок. Она, больная, измученная преждевременными родами, чуть не сошедшая с ума после смерти ребенка, не могла протестовать. Такой ее и нашел Илья.

¹³ Кэлдэраы (котляры) – группа венгерских цыган.

¹⁴ Кофари – барышники.

Утром собрались за столом уже вчетвером, и Яшка спокойно сказал, что теперь и отсюда надо уезжать. Илья был согласен: не выдавать же было, в самом деле, Маргитку и дальше за вдову... Договорились ехать в Симферополь: Илья слышал, что там неплохая конная ярмарка.

Теперь, конечно, переезжать было легче. Яшка без слов передал первый голос в семье тестю: все же Илья был один взрослый среди этого молодняка, из которого старшей, Маргитке, было всего восемнадцать лет. Кофарем Илья был в сто раз лучшим, чем Яшка, знал кочевье, и, кроме того, у него были деньги. И когда они приехали в Симферополь и остановились в поселке крымских цыган, Илья подумал, что все несчастья закончились.

Зря надеялся. Все только тогда и началось. Если раньше в Маргитке сидело, по выражению Митро, «сорок чертей», то теперь эти черти явно переженились и наделали детей: не меньше сотни. За эти полгода она похудела, потемнела, осунулась, но почему-то стала от этого еще красивее. В зеленых глазах появилась незнакомая Илье бесшабашная, шальная искра. Во всей фигуре Маргитки, в походке, во взгляде, в повороте головы теперь постоянно сквозило что-то такое, что заставляло мужчин бросать все дела, останавливаться посреди дороги, оборачиваться вслед идущей девчонке и провожать ее глазами. И ведь даже цыгане не могли удержаться! Даже цыгане, хорошо знавшие, что смотреть так на чужих жен нельзя, что за такое платят кровью, что подобные взгляды нужно оставлять для шалав! А эта проклятая девка, казалось, не понимала ничего. И ходила без платка по цыганской деревне, разбросав по плечам косы, под негодующими взглядами женщин. И, не стесняясь, просила закурить у мужчин. И на праздниках плясала дольше всех и смеялась громче всех, и цыгане останавливались посреди пляски, чтобы посмотреть на ее бесстыдную улыбку и послушать звонкий, зазывный смех. Илья знал крымских цыган, понимал, что добром это не кончится. Несколько раз он пробовал поговорить с женой по-хорошему – Маргитка только смеялась и пожимала плечами. Илья пытался объяснить, что здесь – не Москва, где Маргитка была артисткой, где цыганки носили платья, шляпы и туфли на каблуках. Здесь – поселок, тот же табор, где все друг у друга на виду, крымские цыгане не потерпят у себя потаскуху... Но тут Маргитка взрывалась:

– Это я потаскуха?! Это я шлюха?! А ты меня ловил? А ты мужиков с меня снимал?! Отвяжись! Сам кобель переулошный!

Она кричала сердитые слова, а сама смотрела в лицо Илье своими зелеными глазами, улыбалась, блестя зубами, и он видел – Маргитка ни капли его не боится. И тем обиднее было замечать, что стоило сопляку Яшке не только сказать одно слово, но просто задержать взгляд на сестре чуть дольше обычного, и она тут же стихала и сжималась, как тронутый соломинкой жучок. Яшки она боялась смертельно, но тот никогда не вмешивался в их ссоры с Ильей. И лишь однажды вечером, когда Маргитка явилась домой чуть не ползком, с разбитым в кровь лицом, в изодранной одежде, у Яшки вырвалось:

– Доигралась, курва?

Маргитка не спорила. Размазывая по подбородку и щеке бегущую изо рта кровь, она рассказала, что ее избили цыганки: «Чтоб мужиков не приваживала». Слава богу, ей удалось спасти косы, которые крымки хотели отрезать. Каким-то чудом Маргитка вырвалась и убежала, но Илье было понятно: теперь и отсюда придется убираться.

Из Симферополя они поехали в Кишинев. Илья решил больше не рисковать и не селиться вместе с таборными и поэтому, оказавшись в городе, сразу отправился искать ресторан, где пели цыгане. Таких в Кишиневе было полным-полно. В том, что семью московских артистов примут на работу не раздумывая, Илья не сомневался, и уже на другой день он и Яшка стояли с гитарами, Дашка сидела среди певиц, а Маргитка отплясывала на паркете под аплодисменты зала. Казалось бы, чего еще желать? И в самом деле, Маргитка как будто повеселела, снова стала заказывать себе наряды у модисток, укладывать прически, посмеи-

валась над беременной Дашкой, шальной ведьмин блеск в ее глазах улегся. Илья вздохнул спокойнее. Но однажды во время пляски Маргитка вдруг замерла посреди паркета на цыпочках, с поднятыми руками, и Илья впервые увидел на ее лице жалобное, растерянное выражение. Через мгновение она лежала в обмороке на полу. Через десять минут Илья, стиснув голову руками, сидел у двери маленькой «актерской», откуда доносились сдавленные стоны и причитания женщин. Через час оттуда, держась за стену, вышла бледная Дашка.

– Она жива? – хрипло спросил он.

– Не бойся, с ней все хорошо, – Дашка пошарила руками в воздухе, села рядом с отцом. – Ребенка вот больше нет...

– Я... Я знал, что так будет. Понимаешь – знал... – с трудом выговорил он, сам не замечая, что ищет руку дочери. – Это... это судьба, наверное. Второй уже...

– Ну-у... – Дашка дала ему руку, тронула за плечо. – Ничего, дадо. Она молодая. Всякое бывает. Не думай плохого, у вас еще полон дом детей будет.

Илья молчал. Чувствовал, как Дашка гладит его сведенный судорогой кулак, понимал, что надо бы отстраниться, не годится так распускаться перед дочерью, и так чудо чудное, что она его до сих пор уважает... но шевелиться не было сил. Он не смог сказать ни слова даже тогда, когда Дашка на миг обняла его за плечи, встала и ушла к Маргитке.

Оправилась Маргитка быстро. Через неделю она снова плясала в ресторане, еще бешенее, чем раньше. Кишиневские господа сходили с ума, на чудо-цыганку съезжались чуть ли не поездами, деньги, цветы, украшения лились рекой. И Илья видел: черти, притихшие было в девочке, ожили снова. И мог бы догадаться, старый дурак, что вот-вот грянет новая беда. Не додумался даже сообразить, что в ресторанном ансамбле других женщин, кроме Дашки и Маргитки, не было. А когда Дашкин живот уже нельзя было скрыть, осталась одна Маргитка.

Молдавские цыгане были совсем не то, что московские. Это были лаутары-скрипачи, пели они плохо и мало, плясать не умели вовсе. Под их скрипки в ресторане пили, ели и разговаривали, обращая на музыкантов внимания не больше, чем на дождь за окном. Только когда старик Тодор поднимал смычок, гости отвлекались от своих тарелок. Играл старик и в самом деле хорошо, с ним работали двое сыновей-скрипачей, зять-цимбалист и старший внук с бубном. Внуку этому было лет тринадцать, отцу мальчишки едва сравнялось тридцать, и Маргитка в считанные дни заморочила голову обоим. Яшка, кажется, догадывался об этом, но молчал. Дашка, разумеется, тоже знала, но не решалась говорить о таких вещах с отцом. А Илья и не знал, и не догадывался, пока в один из вечеров к нему в дом не вошел мрачный, как туча, старик Тодор, а за ним с руганью и плачем не вбежали женщины. Удивленный Илья узнал старую жену Тодора, двух невесток. Старик резким взмахом руки оборвал женские причитания. На приглашение Ильи сесть за стол не ответил. Глядя себе под ноги, глухо сказал:

– Морэ, я уже спрашивать боюсь, цыган ты или нет.

– В чем дело? – растерялся Илья. – В моем роду гаджэн не было.

– Значит, ты из своего рода выродок.

Илья вспыхнул, но из уважения к возрасту старика промолчал. Откашлявшись, Тодор продолжал:

– Может быть, ты слепой? Может, у русских цыган не принято жен в узде держать? Привяжи свою жену, морэ, скоро она тебя опозорит. А я свою семью позорить не дам. У моего Стэво жена, семь детей, у старшего свадьба скоро. А твоя Маргитка перед ними подолом трясет. Какой ты цыган, если я тебе должен это говорить?

Илья не испугался. Бояться было нечего, Тодор не привел мужчин, он явно не хотел драки. Но такого стыда Илья не испытывал уже давно. Краем глаза он взглянул на Маргитку. Та стояла у стола, сжимая в руках оплетенную бутылку красного вина. Ресницы ее были опу-

щены, но углы губ странно кривились, не то в усмешке, не то в презрительной гримасе. Яшка стоял, отвернувшись к стене. Дашка застыла у печи. Илья заметил, как дочь тронула Маргитку за запястье, но та резко вырвала руку.

Все же надо было что-то делать. Поднять глаза Илья так и не сумел и медленно, раздельно сказал:

– Не беспокойся, Тодор. Завтра мы уедем.

Старик вышел не прощаясь. За ним выбежали женщины. Хлопнула дверь. Тишина.

– Су-ука... – горестно протянул Яшка, и Илья даже подумал, что парень сейчас ударит сестру. Но тот сумел удержаться и быстро, грохоча сапогами, вышел из дома.

Маргитка продолжала стоять у стола. Лицо ее было неподвижным, лишь по-прежнему кривились углы рта.

– Доигралась? – спросил Илья. Маргитка взглянула на него, но ответить не успела: Илья ударил ее по лицу. Она упала, тут же вскочила, как отброшенная пинком кошка. Кулаком вытерла кровь с разбитой губы, коротко и зло усмехнулась. Не будь этой усмешки, быть может, Илья сдержался бы. А так опомнился лишь тогда, когда Дашка, о которой он совсем забыл, с криком повисла у него на руках:

– Дадо, хватит, ты убьешь ее!!!

До утра Илья просидел в конюшне. Курил трубку, не думая о том, что искра может поджечь сухое сено, слушал лошадиное всхрапывание из темноты. Ворота конюшни были открыты, и он видел дом с горящими окнами: там складывали вещи.

Как всегда в минуты боли, он думал о Насте. Не жалел ни о чем, не мучился, не каялся – все равно ничего вернуть уже нельзя было. Но вырезать из памяти семнадцать лет жизни тоже никак не получалось, да и с кем еще, кроме Настьки, он мог говорить о чем угодно? Прикрывая глаза, Илья словно видел ее наяву: по-молодому стройную, в знакомом черном платье, с гладким узлом волос.

«Ну, вот, Настька... Видишь, что делается?...»

«Вижу».

«Откуда я знаю, что с ней делать?! Как с цепи сорвалась! И ведь душу положу, что ничего у нее с теми лаутарами не было!»

«Конечно, не было».

«А какого тогда черта? Что ей опять не так? Ресторан, деньги... плясала... – опять не слава богу!»

«Молодая еще. Перебесится».

«Что-то ты не бесилась... Помнишь, как в таборе с тобой жили?»

«Ну, вспомнил... Я тебя любила».

«А она что же... нет?»

«Не знаю, ваши дела. Но от меня-то ты в свое время не отказывался. Меня беременную не бросал».

«Откуда я знал, что она беременная? Что теперь – всю жизнь мне глаза колоть будешь? Сказала бы лучше, что делать!»

Илья уронил трубку, искры заскакали по штанам, он, чертыхаясь, поспешил затушить их пальцами. Криво усмехнулся, подумав: вот и с ума сходить начинается. Мало того что с Настькой разговаривает, которая сейчас за тыщу верст отсюда в Москве романсы поет... так еще и о чем разговаривает! О том, как с молодой женой жизнь налаживать! Тьфу... Сказать кому – со стыда сдохнешь. Но на душе почему-то стало легче, и Илья, все еще посмеиваясь над собой, спрятал выбитую трубку за голенище, лег, закинул руки за голову, еще раз представил себе Настю – на этот раз совсем молодую, с косами до колен, – улыбнулся и заснул.

На рассвете в конюшню прокралась Маргитка. И Илья спросонья не сразу понял, кто это всхлипывает и сморкается у него в ногах. Когда он сел и привычно хотел первым делом

поскрести голову, Маргитка не дала ему это сделать, кинувшись на шею и в минуту залив слезами всю его рубашу. Плача, она клялась в том, что не виновата, что ей даром не были нужны эти проклятые лаутары, ни молодой, ни старый (Илья снова усмехнулся про себя, вспомнив, что «старый» лет на десять моложе его самого), что они все выдумали сами, а у нее и в мыслях ничего такого не было, она же цыганка, она же понимает, она любит его, Илью, и готова хоть побираться на площадях, лишь бы быть с ним... Илья гладил растрепанные волосы Маргитки, со скрытым страхом смотрел на ее синяки, на вздувшиеся губы, на рассеченную бровь... Никогда прежде он не бил баб, не случалось как-то. Не Настьку же было молотить, в самом деле?

Утром они покинули Кишинев. Уехали, как таборные, на бричке с крытым верхом, с привязанными сзади лошадьми. Когда по сторонам большака замелькала рыжая степь, Яшка решился открыть рот:

– Куда поедет, отец?

– В Одессу.

Сказав, Илья тут же пожалел об этом. На самом деле он пока ничего не решил. В Одессе он был давно, в молодости, еще до женитьбы, и хорошо помнил конную торговлю в этом шумном портовом городе. Жить и зарабатывать там можно было бы неплохо, но... но он помнил и то, сколько в прежние времена в Одессе крутилось цыган. А про себя Илья уже знал, что больше не повезет Маргитку к цыганам ни под каким видом.

Как он и опасался, цыган в Одессе было еще больше, чем в Кишиневе. И кто тут только не жил! Длинноволосые усаые влахи; торгаши-ловаря, конники, с женами-гадалками; кузнецы-кэлдэары, бродящие по Привозу с медными тазами и кастрюлями; лохматые урсаря, промышлявшие дрессированными медведями; черные и сумрачные крымы с красавицами-женами, сэрвы, лингурары, боша... Вечером Илья и Яшка, возвратившись к кибитке после целого дня скитаний порознь по городу, молча смотрели друг на друга. Было ясно без слов: надо уезжать и отсюда. Маргитка переводила встревоженные глаза с брата на мужа. Илья видел: ей хочется остаться здесь, но она боялась открыть рот. И вдруг заговорила Дашка, которая целый день просидела под стеной на базаре, разговаривая с цыганками:

– Дадо, можно, я скажу?

Сейчас Илья уже не помнил, кто из цыган рассказал Дашке про рыбачий поселок на берегу моря и про то, что там продается дом. Но они пришли туда, и дом действительно продавался, и во дворе дома были конюшня и колодец-журавль, и Яшка явно дал понять, что он теперь шагу отсюда не сделает. Илья не спорил: Дашке подходил срок рожать. Тем более что, кроме них, в поселке цыган не было. Лишь год спустя пришла Чачанка с сыном, у которых тоже было что-то за душой. Вопросов они друг другу не задавали и стали понемножку жить вместе с другим разноплеменным сбродом, наводнявшим поселок. Илья и Яшка торговали лошадьми, иногда развлекали народ в трактире Лазаря, Дашка исправно рожала каждый год, и Илья уже начал думать, что жизнь налаживается.

Ни о Насте, ни о детях он ничего не знал. Да и от кого было узнавать? Даже Варька, сестра, единственная родня на свете, ни разу за пять лет не приехала к ним в гости. Илья пытался убедить себя в том, что Варька просто не знает, где он, но уговоры эти помогали мало. Он не судил сестру: ведь Варька, бездетная вдова, всю жизнь прожила при его семье, поднимала вместе с Настей детей, любила их всех. И, наверное, не смогла, не сумела теперь, как прежде, принять сторону своего непутевого брата. Илья не судил ее... но душа болела. Он всегда был уверен, что Варька будет с ним, что бы ни случилось. Оказывается – нет... Значит, и сестра осталась там, в прошлом, в отрезанном куске жизни, с которой было покончено навсегда. Окончательно Илья понял это, когда Яшка, встретивший на одесском базаре цыган из Москвы и узнавший от них кучу новостей, рассказал о свадьбах Гришки и Петьки, старших сыновей Ильи. Со дня Петькиной свадьбы уже прошло больше года...

В полуоткрытую дверь конюшни осторожно вполз рассветный луч. Луна погасла, растаяв в дымке ранних облаков. Маргитка что-то пробормотала во сне, повернулась, раскинув по сну голые руки. Илья придвинулся, потянул жену на себя, погладил. Вспомнив о том, что она сказала, осторожно положил ладонь на ее живот. Снова, значит... Четыре года не несла, он уже места себе не находил, думал, что причина в нем, что старый стал...

– Пошел вон... – проворчала Маргитка, не открывая глаз. Сбросила руку Ильи, перевернулась на живот и заснула снова.

Илья вздохнул, поднялся, стряхнул с головы сено и пошел к лошадям.

* * *

– Ты правда так думаешь? – спросила Дашка.

Она сидела на плоском камне, поджав под себя ноги, покачивала на руках ребенка. От камня уходила в море полоса гальки, на которую, шурша, набегали желтоватые прибрежные волны. Стояло раннее утро, солнце едва-едва поднялось над утесами, и розовое, притихшее, умиротворенное после ночной бури море переливалось искрами. Горизонт был весь в дымке, которую пересекала короткая, золотящаяся снизу цепочка облаков. На камнях сидели чайки; над морем кружились, высматривая рыбу, величественные бакланы. Чуть поодаль, возле перевернутой лодки, слышались шум, визг, взлетали к небу столбы радужных брызг: там купались дети. В двух шагах от берега, на мелководье, Маргитка ловила крабов. Подоткнув подол юбки выше колен и нагнувшись к насквозь высвеченной солнцем воде, она ловко подхватывала снующих по дну крабов за ножки и бросала их в подвязанный фартук.

– Конечно, правда. О, черт, как спина разболелась... – выпрямившись, Маргитка потерла поясницу, медленно пошла к берегу. – И не прикидывайся, ради бога, будто сама не знаешь. Не любил он меня никогда.

Она завязала фартук с крабами узлом, пристроила его в тени между камнями, села на гальку, повернув покрытое синяками лицо к солнцу. Крабы тихо шуршали, просились на волю. В небе резко вскрикивали чайки.

– Глупости говоришь. – Дашкины немигающие глаза смотрели прямо на солнце. – Он из-за тебя все бросил...

– Ну да. И жалеет до сих пор. Думаешь, не вижу? – Маргитка пересыпала из ладони в ладонь влажные, обкатанные волнами камешки.

– Ничего он не жалеет. Я точно знаю. Не вернуть же...

– Может, он так вовсе не думает. Смотри, шестой год живем, а он меня и за жену не считает: все «чайори» да «чайори», даже на людях. Конечно... Какая я жена? Виновата я разве, что на меня мужики глаза пялят? Всегда пялили... и всегда всякая сволочь, черти их раздери... Почему? С запеленутой мордой, что ли, как турчанки, ходить?.. Уж хоть бы детей нарожать – так и то не выходит. Ты вон Яшке каждый год строгаешь, как кошка, прости господи. А Илье, выходит, на ваш выводок глядеть да облизываться? Наверняка еще думает, что это из-за меня, что я виновата, больная какая или порченная...

– Ничего он такого не думает.

– Ай, золотая моя, за него не говори, а?! – вдруг взорвалась Маргитка, вскакивая.

Узел из фартука завалился на бок, крабы радостно полезли на гальку, но Маргитка не обратила на это внимания.

– Да что он вообще думает, твой отец?! Станет и дальше об меня свои кулаки отбивать – и этого ребенка не будет! Вон каких печатей мне по всей личности наставил! Куда я с такой губой теперь – у Лазаря романсы петь?! Босяков этих смешить?! Разукрасил, как бабу самоварную, лучше некуда! А ЕЕ небось за всю жизнь пальцем не тронул!

– Да. Такого не было, – помолчав, подтвердила Дашка.

Маргитка свирепо посмотрела на нее и, ругаясь, кинулась собирать разбегающихся крабов.

От потопленной лодки, звонко шлепая пятками по мелкой воде, принеслась Цинка. В кулаке она сжимала большую розовую раковину, время от времени прикладывая ее к уху. Бросив раковину на колени матери, Цинка прямо в платье с шумом и брызгами снова поскакала в воду. С лодки ее проводили восторженными воплями младшие братья. Вскоре курчавая головка маячила у дальней песчаной косы: Цинка, как и все местные дети, плавала не хуже дельфиненка.

– Эй, дочка, возвращайся! Утонешь еще, назад! – обеспокоенно крикнула ей вслед Дашка. Помедлив, негромко спросила, повернувшись к Маргитке: – А если так – зачем мучаешься? Тебе всего-то двадцать три, молодая. Детей, сама говоришь, нету. Уходи.

Маргитка вышла на берег, отжала мокрый подол юбки. Не глядя на Дашку, зло сказала:

– Никуда я не пойду. Не дождетесь. Знаю я, вы с Яшкой спите и видите, чтобы я узел связала и умотала. А вот только я возьму да и не уеду! Вот сдохну – тогда твой муженек от сестрицы-шлюхи и избавится, а пока... Бог терпел и ему велел.

– У-у, куда тебя понесло... – спокойно сказала Дашка.

Маргитка фыркнула. Неожиданно грустно улыбнулась, села рядом, положила коричневую от загара руку на Дашкин локоть.

– Ладно, не сердись. Со злости сказала. Но и ты ерунды не пори. Мне, кроме твоего отца, никого не нужно. Сама до сих пор не пойму почему. Он об меня ноги вытирает – а я все его люблю. Смех сказать, не знаю, когда хуже жила – с ним или без него. Знаешь, как я первый раз тяжелая ходила, еще в Ялте? Пузо огромное, едва ползаю, мутит с утра до ночи, а Яшка еще и «дров» подкидывает: курва проклятая, нагуляла от вора... Он-то думал, что я от Сеньки Паровоза в Москве занеслась! Сволочь твой муж, вот что я скажу! Хоть и брат он мне, а все равно сволочь.

– Помолчи, – сдержанно сказала Дашка. – Если б не он, невесть что бы с тобой было.

– Да ла-адно... Выкрутилась бы как-нибудь и без него. Еще бы и здоровее была. – Маргитка недобро сузила глаза. Помолчав, хмыкнула: – Хотя с тобой что про это говорить... С тобой-то Яшка шелковый. Ума не приложу, как ты его обуздать сумела? Он тебя хоть раз ударил?

– Ни разу, – виновато сказала Дашка.

– Бог мой, как ску-учно люди живут... – без улыбки протянула Маргитка, один за другим бросая в воду камешки. Они скоро кончились, Маргитка вошла в воду, чтобы набрать еще, но вместо этого подняла ладонь козырьком к глазам и всмотрелась в какую-то точку на берегу.

– Скачет кто-то.

Дашка привстала с камня, чуть наклонила голову, прислушиваясь. Уверенно сказала:

– Это Васька Ставраки. Его вороной.

Маргитка вспыхнула и бегом, на ходу одергивая юбку, кинулась из моря на берег. Вскоре стало ясно, что Дашка не ошиблась: вдоль полосы прибоя неся на своем вороном взлохмаченный, мокрый, в одних штанах Васька Ставраки. Поравнявшись с цыганками, он резко осадил жеребца, улыбнулся, сверкнув золотым клыком.

– День добрый, красавицы!

– Здравствуй, – сухо отозвалась Дашка.

Маргитка и вовсе не сказала ничего, старательно отворачиваясь от бьющего в глаза солнца. Но Васька все равно разглядел синяки на ее лице и тихо присвистнул. С минуту он ждал, не спешиваясь и похлопывая ладонью по мокрой шее вороного. Но Маргитка не поворачивалась, и тогда Васька вполголоса окликнул:

– Эй, ласковая!

Маргитка ошеломленно взглянула на него... и тут же с визгом отпрянула, заслонившись рукой: прямо ей в лицо летело, искрясь на солнце, что-то круглое.

– Ты что же, черт, кидаешься?! – завопила она, но вороной уже летел прочь, поднимая столбы брызг, и вскоре скрылся за утесами.

– Ну, все с ума посходили... – озадаченно пробормотала Маргитка, делая шаг к ямке в песке, куда упал брошенный Васькой предмет. Через мгновение она округлившимися глазами рассматривала золотой перстень с крупным зеленым камнем. Маргитка стерла с него мокрый песок, и камень заиграл на солнце.

– Далэ-далэ-далэ... Да где же он такое украсть умудрился, сатана копченный?! – ахнула она, поворачиваясь к Дашке. – Ты поддержи!

Та взяла перстень, ощупала. Пожав плечами, сказала:

– Красивый.

Маргитка, сощутив глаза, в упор смотрела на нее, но Дашка больше ничего не сказала. Перстень она аккуратно положила на песок, и Маргитка, помедлив, снова взяла его в руки. Некоторое время любовалась игрой камня на солнце.

– Ты не подумай, я твоему отцу верная. И ничего у этого Васьки никогда не просила. И ничего ему не обещала. Только... знаешь, что он мне говорил? Одно, говорил, твое словечко – и увезу тебя, на край земли увезу... Говорил, что если б не я – ноги бы его в поселке не было, только из-за меня и сидит тут. И еще говорил, что... что даром я в этой дыре пропадаю, и красота, и талант, и годы молодые...

– А ты ему веришь?

– И не хочу, а верится! – Маргитка невесело улыбнулась. Покосившись на неподвижную Дашку, надела перстень на палец – тот сидел как влитой. – Не беспокойся, никуда я с ним не поеду. Хватит, откочевалась. А все-таки... от Ильи я таких слов не слыхала. Он обо мне никогда не думал. Мне иногда кажется, что сдохни я, пропади – и ему легче было бы.

– Дура! – впервые за весь разговор вспылила Дашка. – Что у тебя в голове творится? Сама выдумала, сама поверила и мучаешься! У тебя ведь дите будет. Родишь – и сразу успокоишься. И отец тоже уймется. И будете жить по-людски, и все на места встанет... Слышишь меня?

– Слышать – слышу, да веры нет, – жестко сказала Маргитка. Некоторое время она сидела не двигаясь, глядя на исчезающую за кромкой горизонта гряду облаков. Затем вдруг резко встала и, сорвав с пальца перстень, бросила его в море. Дашка услышала тихий всплеск, но ничего не сказала. Маргитка медленно опустилась на песок там, где стояла, обхватила колени руками.

Из воды с визгом вылетела вся покрытая пупырышками Цинка. Отжимая прямо на себе платье, она запрыгала по гальке.

– Пойдем домой, – велела Дашка. – Зови Кольку и Ваню.

Цинка помчалась по мелководью, истошными воплями призывая братьев. Дашка поднялась, оправила юбку с фартуком, поудобнее взяла спящего сына. Повернувшись к Маргитке. Та по-прежнему сидела на песке, смотрела на сверкающее море. По ее лицу бежали слезы.

* * *

Среди ночи Настя проснулась от странного звука: казалось, дрогнуло оконное стекло. Она подняла голову с подушки, испуганно осмотрела темную комнату. На открытом окне качалась от сквозняка занавеска, пахло цветущей сиренью. Было тихо. Пожав плечами, Настя легла было, но звук повторился. Теперь уже она не могла ошибиться: кто-то кинул камешком в окно. Вскочив, Настя отдернула занавеску, свесилась через подоконник. Внизу,

возле запертой калитки, темнела женская фигура в длинной юбке и шали. Привидение подняло голову, и Настя тихо ахнула от радости.

– Варька! Господи, это ты?! Варька! Да подожди, я сейчас спущусь, отопру! Ой, боже мой, наконец-то, наконец-то...

Прямо в рубашке, не накинув даже шали, Настя вылетела из комнаты, сбежала по ступенькам, пронеслась через пустую, залитую светом заходящего месяца нижнюю залу, открыла дверь, вторую, третью... Через пять минут они с Варькой вдвоем на цыпочках поднялись на второй этаж.

– Проходи сюда! – Настя впустила Варьку впереди себя в комнату, зажгла свечу, плотно закрыла дверь. – Ты чего это середь ночи?

– А наш Илюшка разве не завтра венчается? Я спешила со всех ног, хотела в церковь поспеть!

– А, так ты знаешь уже?

– Цыгане рассказали. Я все бросила, табор бросила и помчалась на рысях... – Варька, сев на стул, устало развязывала шаль. Неровный свет прыгал на ее худом большеносом лице. С возрастом сестра Ильи, всю жизнь считавшаяся некрасивой, неожиданно похорошела, резкие черты смягчились, заметнее стала красота больших влажных глаз с густыми ресницами, в черных косах еще не мелькала седина. Спутанные волосы Варьки выбились из-под темного платка, и она, морщась, принялась заправлять их обратно. Настя с грустью смотрела на этот вдовый знак: Варька, потеряв мужа в молодости, не сняла черной косынки по сей день.

Настя знала Варьку столько же, сколько Илью: больше двадцати лет. Брат и сестра Смоляковы пришли в хор вдвоем и всегда, сколько Настя знала их обоих, были вместе. Даже замуж Варька вышла в том же таборе, с которым кочевала семья брата. Вышла без любви и даже без особой охоты. Просто потому, что Илья в один из вечеров спросил: «Тебя Мотька сватает, пойдешь?»

Варька подумала – и согласилась. Согласилась потому, что никогда не обманывалась на свой счет и знала, что ее темное, словно закопченное лицо, слишком большой нос, выпирающие зубы никого не привлекут. Ей не нужен был муж, но она хотела детей. Да и муж, Мотька, тоже не любил ее, просто взял хозяйку в шатер, Варька это знала. И пошла замуж с легким сердцем, зная, что никого не обманывает. Им с Мотькой было, в общем-то, наплевать друг на друга, – может, поэтому они и прожили целый год хорошо и спокойно. А потом Мотьку убили во время кражи лошадей, в овраге близ калужской деревни, возле которой стоял табор. Илью тогда спасла, заслонив собой, Настя и поплатилась за это красотой: два глубоких шрама остались на ее лице навсегда, но муж ее остался жив. А Мотька умер, и, голося с распущенными волосами над его гробом, Варька чувствовала в глубине души: плачет не по мертвому мужу, не по себе, оставшейся вдовой в двадцать один год, а из-за того, что не успела забеременеть. Последняя надежда на счастье была похоронена. Оставалось носить черный платок и по обычаю жить в семье покойного мужа на положении невестки. Но это было уже выше Варькиных сил, и она твердо объявила свекру и свекрови, что оставаться с ними, при всем уважении, она не хочет и возвращается в семью брата. Старики поворчали, но спорить не стали, и Варька ушла к Илье и Насте.

С ними она и прожила семнадцать лет. Вместе с Настей поднимала детей, возилась с ними, кормила, купала, вытирала чумазные мордочки, учила ходить, а позже – и плясать, и петь. Иногда она уезжала от семьи брата в табор, иногда – в московский хор и, отпев сезон, возвращалась снова к Илье и Насте. Репутация Варьки как вдовы была столь безупречной, что даже злоязыкие цыганки не смогли усмотреть ничего плохого в ее одиноких кочевьях. В таборе она поселялась в шатре родителей покойного мужа, в Москве шла в Большой дом, к Митро и Илоне, и те принимали ее с радостью, как родню.

– Прости, что разбудила. – Варька смущенно улыбнулась. – Ты ведь из ресторана? Ложись обратно, спи, а я в кухню на сундук пойду...

– Брось. Куда я лягу? И не из ресторана вовсе, мы вчера целый день к свадьбе готовились, не до пения было... Есть хочешь? Сейчас спущусь, принесу что-нибудь. Бог мой, я тебя два года не видела!

– Не ходи никуда! Сядь со мной. – Варька положила сухую, обветренную руку на рукав Настиной рубашки, улыбнулась. – Я не голодная, устала только. Как вы тут? Как дети? Что это Илюшка жениться собрался?

– Да так вот... – вздохнула Настя, присаживаясь рядом за стол. – Что мне его – держать? Парню восемнадцать, пусть женится. Девочка славная, плясунья, поет хорошо... Да бог с ними! – оборвала вдруг Настя саму себя. – Про себя расскажи! Почему не ехала столько времени, где тебя носило? Наверное, до самой Африки со своим табором добралась? Вот ведь душа твоя неугомонная! Как я тебя просила, как Митро уговаривал – оставайся, пой в хоре, живи, тебе тут все рады... Нет, потащилась все-таки в кибитке по ухабам невесть зачем!

– Отчего не потащиться? – улыбнулась Варька. – Я же таборная. В Африке, врать не буду, не была, а по Сибири помотались дай боже. И по Уралу, и по Волге... Дела. Кочевье. Сама помнишь небось.

– Одна кочуешь?

Варька, перестав завязывать платок, опустила руки, пристально взглянула на Настю. Та не отвела глаз, и Варька, вздохнув, вполголоса сказала:

– Нет, я его не нашла.

Наступила тишина, в которой отчетливо слышалось тиканье хрипатых ходиков. Настя сидела, опустив голову на пальцы, с закрытыми глазами. Варька смотрела через ее плечо в открытое окно.

– Почему ты мне не веришь? Когда я тебе врал? Илья же брат мне, у меня, кроме него, никакой другой родни нет... Шестой год ищу – и все ничего! Цыгане, кто его встречал, все разные места называли, я только туда приеду – а их уже и след простыл! По всей Бессарабии за ним гонялась, а толку никакого. И хоть бы знать о себе дал, бессовестный...

– Да ведь тебя тоже не сыщешь. – Настя не поднимала головы, и голос ее звучал глухо. – Что за нелегкая вас обоих по свету носит? Давно уж утомиться пора.

– Вот найду Илью и сразу из табора съеду, – твердо сказала Варька. – Вернусь к вам в Москву, буду в хоре петь... – Минутная пауза. – Это правда, что мне тут цыгане рассказали?

– Про что?

– Про князя Сбежнева. Что ты согласилась.

– Врут твои цыгане, – помолчав, сердито сказала Настя. – Не согласилась еще. Думаю.

– Так это и значит, что согласилась, – без улыбки отозвалась Варька. – Он хороший человек. Выходи, сестрица, не прогадаешь.

Настя встала, прошла по комнате. Задержавшись у зеркала, вынула из растрепанной прически несколько шпилек. Держа их во рту и укладывая заново волосы, невнятно спросила:

– Ты правда радуешься? Не обидно, что я твоего брата на князя меняю?

– Илья ведь тебе давно не муж. – Варька отвернулась к окну. – Знаю, я его сестра, я его всегда защищала, чего бы ни натворил, но... Но не ждала я от него такого. Все думала поначалу: опомнится, вернется к тебе, а он... Слушай, за что ты его любила, а? Ну за что?! Что ты от него хорошего видела-то?

– Пел лучше всех. – Настя невесело улыбнулась в зеркало. – У-у, Варька... Да если бы бабы за одно хорошее любили... да разве бы у него их столько было? Дуры мы, вот и все.

Она вернулась к столу. Варька молча взяла ее за руку. Настя ответила слабым пожатием, улыбнулась. Варька заметила эту улыбку.

– О чем ты?

– Так... Вспомнила вдруг. Ведь Илья меня тоже как-то про это спрашивал. В то лето, когда мы с ним в Москву вернулись и здесь, в этой самой комнате жили. Помню, ночью из ресторана приехали, сидим вот так же, говорим, сейчас уж не помню о чем... Я – на кровати, Илья – на полу... И вдруг он спрашивает: Настька, а если б я петь совсем не умел, ты бы за меня пошла? Мне смешно стало, подумала – шутит он, а потом смотрю – всерьез... Мне, правда, и в голову не пришло ничего, удивилась только. А он тогда уже два месяца с Маргиткой... – Голос Насти вдруг дрогнул. Варька тронула ее за плечо, но она не глядя отмахнулась.

– Кобель, и ничего больше, – зло сказала Варька. – Ты не плачь, пхэнори, много чести – плакать из-за него. Кнута бы ему хорошего за все это, вот что!

– За что же пороть хочешь? – через силу улыбнулась Настя. – За то, что он другую полюбил? Люди в таких делах-то над собой не вольны...

– Не любовь это, а бес в ребро! – отрезала Варька. – Мог бы подумать башкой своей пустой, что от шестерых детей за любовью не бегают!

– Бес в ребре по пять лет не сидит. – Настя вытерла глаза, вздохнула. – Оставь, Варька. Пусть живет как хочет. Лишь бы доволен был. И не смотри, что я реву, это так... Накатило что-то. И сердца у меня на него нет, не бойся, все-таки семнадцать лет хорошо прожили.

– Как же, хорошо... – упрямо сказала Варька. – Шлялся, как сволочь последняя, всю жизнь.

– Все цыгане такие – забыла?

– Может, и все. Только не все же на тебе женаты! Другой бы каждый день в церкви свечу ставил за такую жену, а этот... Тьфу, даже говорить про него не хочу! Права ты, пусть живет как знает. А ты хоть в княгинях походишь. И поживешь по-людски. Сбежнев для тебя все сделает, луну с неба попроси – достанет.

– И что я с ней делать буду? – Настя снова улыбнулась. Помолчав, сказала: – Я еще ничего не решила. И ответа ему пока не давала. Вот кончится это все, свадьба, лето... тогда и решим.

– Не тяни, сестрица, – серьезно посоветовала Варька. – Годы наши уже не те, чтобы женихами разбрасываться. Дети вырастут, ты вон уже третьего сына женишь. Разбегутся, и что потом? Не годится одной вековать.

Настя повернулась к ней, внимательно вгляделась в большеглазое, темное от загара, словно опаленное степным солнцем лицо Варьки. Та ответила слегка удивленным взглядом, и Настя спросила:

– Ты сама отчего замуж не выходишь? Уж сколько лет вдова, а не торопишься.

– Никто не берет, – в тон ей ответила Варька. – Ты что, милая? На себя посмотри и на меня! К тебе и через десять лет женихи строем будут приходить, а мне чего ловить?

– Ладно тебе... Сватались же, я знаю. Отчего не шла?

– Не хотела. Не знаю почему. Наверное, однолюбка.

– Да? А мне всегда казалось... Ты извини меня, конечно, но... Я думала, что ты Мотьку не любила.

– Правильно думала. – Варька не мигая смотрела на пламя свечи.

– А как же?..

Варька молчала. Молчала так долго, что Настя наконец со вздохом сказала:

– Ладно. Не отвечай. Твоя жизнь.

– Ты не обижайся. – Варька накрыла ее ладонь своей. – Я тебе верю, ты мне как сестра, но... Я уж привыкла, что это во мне живет. Пусть уж так и остается. Чего теперь на старости лет языком молоть?

– Ты еще не старая вовсе.

– Ай...

Снова тишина. За окном уже зеленело небо, близился ранний майский рассвет. Огонек свечи забился под внезапным сквозняком, погас, и тени обеих женщин в пятне на полу растаяли. В полумраке Настя поднялась, пошла к двери. Обернувшись с порога, сказала:

– Я все-таки поесть тебе принесу. И спать ляжем. Завтра здесь с утра дым коромыслом будет.

На другой день по Живодерке гремела свадьба. Вся улица, от Садовой до Большой Грузинской, пестрела платьями, шальями и платками цыганок, яркими рубашками цыган, отовсюду слышались гомон, смех, музыка и веселые возгласы. Вдоль заборов стайками носились дети, оповещая всех встречных:

– Катьку замуж выдают! Илюшка женится!

Большой дом был полон гостей. С самого утра начала сходитьсь родня из Петровского парка, из Марьиной рощи, с Разгуляя, с Таганки, из Серпуховской и Донской слобод. Подъезжали на извозчиках, приходили пешком целыми семьями. Стоял ясный и солнечный день, было уже по-летнему тепло, в палисаднике розоватыми волнами колыхалась сирень, отцветающие яблони сыпали на траву последние лепестки. Окна и двери дома были распахнуты, и из них на всю улицу разносилась гитарная музыка. У ворот еще стояла украшенная цветами и лентами пролетка: только что из церкви вернулись молодые. Их встречали в заполненной народом большой зале. Гости постарше чинно сидели за накрытыми столами, молодежь стояла вдоль стен, толпилась в дверях, подоконники были облеплены детьми. Когда сияющая Катька и слегка растерянный Илюшка остановились в дверях, их встретили веселой песней. Под пение и гитары молодые опустились на колени, и к ним подошли Настя и Митро, который в этот день заменял отца жениха. Немного бледная Настя в атласном вишневом платье и шали через плечо подала Митро икону, и все присутствующие в комнате, от молодых до самого крошечного цыганенка на подоконнике, осенили себя крестом. Стало тихо. Митро не торопясь перекрестил иконой Илюшку и Катьку. Вдохнул, улыбнулся, сказал:

– Ну, что, дети... Дай бог вам сто лет жить, счастья в ваш дом, детей, богатства, уважения. Илья, не обижай жену. Катерина, мужа слушайся. Тэ дэл о Дэвел бахт баро!¹⁵

– Тэ дэл о Дэвел! Тэ дэл о Дэвел! – радостно подхватили цыгане.

Молодые по очереди поцеловали икону, поднялись с колен, поклонились гостям, родителям и – немедленно разбежались. Невеста кинулась к матери и сестрам, шепотом, взахлеб начала что-то рассказывать, прыскала от смеха, и мать, полная цыганка в старомодном, но дорогом платье, сердито урезонивала ее, прося держаться подостойнее. Жених отошел к молодым цыганам, с хохотом захлопавшим его по плечам и спине и тут же начавшим давать какие-то важные советы, которым Илюшка зачарованно внимал. За столом возобновились разговоры, молодые цыганки сновали за спинами гостей, разнося блюда, наливая вино, убирая грязную посуду. Дети затеяли шумную игру прямо посередине комнаты, но никто не прогонял их. Митро и Настя тихо разговаривали у окна. Настя всхлипывала; Митро, притворно хмурясь, ворчал:

– Экие вы, бабы, дуры, право слово... Ну, что ты воешь? Третьего уже женишь, приывать пора.

¹⁵ Дай вам Бог большого счастья!

– К такому не привыкнешь, – убежденно сказала Настя, доставая из рукава платок. – Ты сам уже четверых девок замуж выдал, а все боишься, как бы икону на благословении не уронить. Ладно, слышала я, как ты Николая-угодника вспоминал...

– Так ведь, понятное дело, волнуешься... А ревешь-то чего? Такую девочку за своего разбойника берешь, такую девочку! Одно неладно – маленькая...

– Почему неладно? Она рядом с ним как куколка. И плясунья хорошая, в хоре даром хлеб есть не будет. – Настя обвела взглядом комнату, улыбнулась каким-то своим мыслям.

– Ты о чем? – спросил Митро.

– Да так... Подумала – свадьба цыганская, а половина гостей – гаджэ. Да какие гаджэ! Смотри, до чего мы с тобой под старость лет дожили, – князя с графьями у наших детей на свадьбе гуляют!

Митро усмехнулся. Действительно, за столами вместе с цыганами-артистами, кофарами с Рогожской и Таганки, сидели старые друзья цыганского дома. Это были уже люди в годах, помнившие молодую Настю, неженатого Митро, Илону – босоногую девочку, привезенную из табора. Рядом с пожилыми цыганками по-свойски расположился и галантно наливал им вино капитан Толчанинов, герой Крымской кампании, давний знакомый еще Настиного отца, чуть было не женившийся в свое время на хоровой цыганке. Женильба расстроилась вовсе не по его вине: красавица Таня за день до свадьбы сбежала из Москвы с кавалергардом. Толчанинов, на всю жизнь после этого разочаровавшийся в прекрасном поле, тем не менее исправно продолжал ездить к цыганам на Живодерку, которые давно смотрели на него как на члена семьи. За другим столом сидели граф и графиня Воронины и пятеро их сыновей – высокие, черноволосые и смуглые красавцы с холодными серыми глазами. Лишь у младшего, двенадцатилетнего худенького мальчика в гимназической форме, были миндалевидные, темные, опущенные длинными ресницами глаза матери – бывшей звезды жестокого романса Зины Хрустальной. За роялем, окруженный смеющимися гитаристами, восседал профессор консерватории Майданов – по обыкновению, взъерошенный, как сердитый воробей, в сломанном пенсне, со съехавшим к плечу мятым галстучком. Двадцать два года назад в этой зале молодая Настя пела ему классические арии, и Майданов, стуча кулаком по крышке рояля, пророчил ей карьеру оперной певицы. Рядом с ним стоял Владислав Заволоцкий, известный всей столице журналист и поэт, когда-то юноша-студент, по уши влюбленный в Настю и писавший ей стихи, которые цыгане перекладывали на музыку и после пели в ресторане. Заволоцкий разговаривал с жизнерадостным толстячком в чесучовой паре, который бойко доказывал ему что-то, размахивая короткими ручками с унизанными перстнями пальцами. Толстячка звали Павел Арнольдович Висконти, он был одним из известнейших московских импресарио. Павел Арнольдович один из сегодняшних гостей зашел сегодня в дом на Живодерке по делу, не зная, что у цыган играется свадьба, и был немедленно препровожден за стол с уверениями, что дела подождут, а выпить за счастье молодых сам бог велел. Висконти повелению бога противиться не стал. Сейчас его обширная лысина была покрыта бисеринками пота, и он азартно наскикивал на иронически улыбающегося Заволоцкого:

– И напрасно, мой друг, вы спорите! Поверьте старому театральному пройдохе, мода на цыган в России не пройдет никогда! Конечно, есть итальянцы, бельканто, Ла Скала, прочая классическая хrapесидия, но... Но наши баре, героически отсидев в ложе какую-нибудь «Аскольдову могилу», с облегчением садятся на лихачей и кричат: «К „Яру!“ Почему бы это?

– По неистребимой нашей русской дремучести, вот почему, – брюзгливо отвечал Заволоцкий. – Я лично считаю, что...

Но высказать, что он лично считает, Заволоцкому помешал истошный вопль с улицы:

– Князь Сбежнев подъехали!

– О, дэвлалэ! – всполошилась Илона. – Чаялэ! Гашка! Симка! Оля! Живо вина, бокал! Величальную! Гитаристы где?! Митро, что ты стоишь, как конная статуя, иди встречай!

Но князь уже сам входил в комнату, улыбаясь и отвечая направо и налево на приветствия. Первым делом он протянул обе руки хозяйке дома.

– Елена Степановна, добрый день! Я еще с улицы слышал, как ты распоряжалась на мой счет. Оставь, пожалуйста, эти церемонии, нужно быть попроще со старыми друзьями... Митро, поди сюда! Обнимемся! Мои поздравления тебе и Насте. Настя, здравствуй, девочка! Какое прелестное платье! Отчего ты раньше не носила вишневого?

– Вы хоть на людях не позорьте меня, Сергей Александрович! – рассмеялась Настя, протягивая Сбежневу руку для поцелуя. – Третьего сына женю, а вы мне все «девочка»...

– А где невеста? – с интересом огляделся князь.

Поднялись шум, возня, перестук каблуков, нестройный звон гитарных струн. Наконец наспех вставшие в ряд, смеющиеся гитаристы взяли дружный аккорд, и из толпы вышла смущенная, покрасневшая Катька. В руках ее был знакомый всем гостям цыганского дома серебряный поднос, на котором стоял бокал вина. Князь восхищенно улыбнулся. Катька сконфузилась совсем и не сразу смогла запеть. Гитаристам пришлось взять второй аккорд, чтобы невеста сумела собраться с духом и повести дрожащим, но звонким голосом величальную:

Как цветок душистый аромат разносит,
Так бокал налитый гостя выпить просит!
Выпьем за Сережу, Сережу дорогого,
Свет еще не создал красивого такого!

Когда отгремели последние призывы: «Пей до дна, пей до дна!», князь поставил пустой бокал обратно на поднос и рядом с ним положил длинный футляр черного бархата.

– Будьте счастливы, ты, девочка, и ты, Илья.

Подошедший Илюшка с достоинством поклонился. Катька под любопытными взглядами цыганок открыла футляр, и среди женщин пронесся вздох восхищения: тонкий бриллиантовый браслет сверкал голубыми гранями камней. Подошли взглянуть на подарок и мужчины; украшение немедленно пошло по рукам, сопровождаемое завистливыми вздохами, присвистом и щелканьем языков. Катька, хмурясь от нетерпения, едва дождалась, когда браслет вернется к ней, и тут же застегнула его на запястье.

– Эй, пусть теперь невеста пляшет! – завопил кто-то, и толпа тут же раздалась, освобождая круг паркета.

Цыгане снова похватили гитары, одновременно несколько человек запели плясовую, и довольная Катька, разведя руками и поклонившись, пошла по кругу. Остановившись перед Сбежневым, она низко поклонилась, приглашая его танцевать, но князь лишь молча улыбнулся. Легкая хромота, следствие старого ранения, не позволила ему принять Катькин ангажемент.

– Мне разве что попробовать по старой памяти... – послышался задумчивый голос, и из-за стола под хохот, аплодисменты и подбадривающие крики цыган вылез капитан Толчанинов.

Катька с комическим испугом закрыла глаза, повела плечиком, вздернула остренький подбородок и проплыла мимо капитана, задорно глядя через плечо. Толчанинов сощурил глаза, пригладил седые волосы. Ему было уже за шестьдесят, но, когда капитан, вскинув руку за голову, весь вытянувшись, как струна, мягкой и небрежной цыганской походкой пошел за Катькой, ловко попадая в гитарный аккомпанемент, по комнате пронесся дружный вздох восхищения.

– Э, Владимир Антонович, не дорога пляска, а дорога выходка! – подбодрила из-за стола графиня Воронина. – Ну, давайте, давайте романэс! Авэньте тропачки-хлопушки.

Толчанинов улыбнулся Зине Хрустальной, но чечетку бить не стал, а, дружески хлопнув по плечу, втолкнул в круг вместо себя жениха. Катька, в свою очередь, потянула за руки двух своих незамужних сестер, совсем девочек с тонкими косичками. Круг расширялся, в него один за другим вскакивали все новые и новые цыгане, звенели гитары, графиня Воронина, не утерпев, выскочила из-за стола и забила плечами, трещал паркет под каблуками...

Под этот шум князь Сбежнев отвел Настю к окну.

– Ну, вот, видишь, девочка? Уже третьего сына выпускаешь в люди.

– Да, слава богу, – рассеянно ответила Настя, явно думая о другом.

Князь заметил это, проследил за ее взглядом. Настя через головы цыган смотрела на своего старшего сына, Гришку. Тот не плясал вместе с другими и сидел на подоконнике, обхватив колено руками и глядя в открытое окно вниз, на улицу. На его темном лице со сросшимися бровями не было улыбки.

– Держу пари, я знаю, о чем ты думаешь, – вполголоса сказал князь.

– Вот как? О чем же?

– О том, как все твои дети с возрастом становятся возмутительно похожими на НЕГО.

– Ничего тут возмутительного нет, – помолчав, сказала Настя. – Не от проезжего же молодца рожала.

Князь внимательно посмотрел на нее.

– Ты обижена?

– Нисколько. А про Гришку – ваша правда. Смешно даже, он ведь всегда на меня был похож, а как в мужские годы входить начал – так, глядите-ка, вылитый отец... Вы еще в Париж не уезжаете, Сергей Александрович?

– Ты же знаешь, я никуда не поеду, пока не услышу твоего решения.

– Трудно мне решить. – Настя по-прежнему не смотрела на князя. – Сами видите, то ресторан, то свадьба, то теперь выезд этот в Крым...

– Что за выезд? – удивился Сбежнев.

– А вы еще не слышали? Павел Арнольдович, кажется, уже месяц Митро уламывает... Эй, Митро, Павел Арнольдович, подите к нам! Расскажите про Крым, решили уже что-нибудь?

– Стадо бухарских ишаков – просто голуби по сравнению с вашим братцем, Настасья Яковлевна! – сокрушенно сказал Висконти, подкатываясь на коротких ножках к Насте и князю. – Я ему битый месяц толкую о выгодах этого предприятия, а он все принимает позы античного мыслителя и говорит, что надо, мол, подождать. Чего же здесь ждать, скажите на милость, чего?! Концерты хора в городах Крыма – Ялте, Алушке, Симферополе, затем в Одессе! Железная дорога, свой вагон! Афиши, билеты, залы – все схвачено!

– Очень мы там нужны кому... – сердито сказал подошедший следом за Висконти Митро. – Будто в Крыму своих хоров не имеется. Воля ваша, Павел Арнольдович, только я цыган в этакую даль не потащу. Денег не заработаем, только зря прокатаемся.

Висконти даже не нашел слов и лишь всплеснул руками. Сбежнев, посмотрев на Настю, нерешительно сказал:

– Митро, я, конечно, не советчик тебе в таких делах, да я в них ничего и не смыслю, но... Pourquoi pas, как говорят французы? В Крыму летом чудесно, там собирается вся московская и петербургская публика. По чести сказать, и я с удовольствием поехал бы с вами. У меня как раз выдастся свободный месяц...

– Что там французы говорят, я не знаю, – ворчливо отозвался Митро, – но только, если лето даром пропадет, меня цыгане на части разорвут! Я рисковать не могу.

– Никакого риска! Никакого риска, поверь! – снова вмешался Висконти. – Ваше сиятельство, да помогите же мне уломать этого идола египетского! И вы очень правильно заметили насчет публики: летом весь Питер и вся Москва выезжают как раз в Ялту и Алушку,

а обе столицы стоят пыльные и пустые. Оставишь половину хора в ресторане Осетрова, чтобы у того совсем не скисла коммерция, а с остальными по железной дороге – в сказочную Тавриду! Господи, ты же еще благодарить меня будешь!

Широкоскулое лицо Митро выражало крайнюю степень недоверия, но он молчал. Настя, улыбаясь, смотрела на него. Она знала, что Висконти близок к победе.

От разговора всех четверых отвлек шум, поднявшийся у дверей.

– Еще, что ли, кто-то подъехал? – обернулся Митро. И больше ничего сказать не успел, потому что на шею ему бросилась молодая цыганка.

– Дадю!!!

– Иринка!

Гитара, неловко отставленная Митро к стене, чудом не упала на пол. Настя едва успела подхватить ее за гриф и грустно смотрела на то, как обнимаются отец и дочь. Двадцатилетняя Иринка, пять лет назад выданная отцом замуж в Рогожскую слободу, в семью цыган-барышников Ивановых, пришла на свадьбу вместе со свекровью, тремя невестками, пятью зятьями, мужем и двумя старшими детьми. Ивановы, известные среди цыган как Картошки,¹⁶ стояли у порога, окруженные цыганами, сдержанно улыбались, отвечали на приветствия. Муж Иринки, красивый и рослый парень, известный всей Москве кофарь, уже разговаривал о чем-то с женихом. Свекровь, пожилая сухопарая цыганка в старомодном саржевом платье, смотрела на обнимающую отца Иринку неодобрительно, жевала губами, теребила кисти шали и наконец не выдержала:

– Что ты, милая, на отце повисла, как на заборе? Отойди, дай поздороваться. Поди вон на кухню, может, там помочь надо... Здравствуй, Дмитрий Трофимыч, здоров ли?

– Слава богу, Фетинья, – сухо, сдерживая досаду, сказал Митро.

Подошла Илона, начались объятия, поцелуи, расспросы, гостей повели к столу. Митро шел рядом с Фетиньей Андреевной, о чем-то говорил ей, украдкой оборачивался, ища глазами дочь. Но та уже скрылась на кухне, откуда слышался звон посуды и сердитые голоса цыганок.

Иринка была самой красивой из дочерей Митро, одной из всех непохожей на отца. Но и от матери она взяла немного. Невесть откуда у девочки взялось тонкое и строгое лицо с высокими скулами, длинные, вразлет брови, родинка в углу рта и темные, с длинными пушистыми ресницами, почти без белка глаза. Эти глаза, большие и блестящие, цыгане называли «печаль египетская» – за то, что веселья в них не мелькало даже тогда, когда Иринка улыбалась. У нее был прекрасный голос, сильное и чистое меццо-сопрано, «совершенно итальянское», по выражению профессора Майданова, который всерьез уговаривал Митро отдать девочку учиться классическому вокалу. Тот не соглашался, говоря, что в хоре обойдутся и без вокала, и до пятнадцати лет Иринка пела в ресторане со всей семьей. А потом, как гром среди ясного неба, на всю Москву грянуло известие об исчезновении из дома старших детей Митро. Московскими цыганами имя Маргитки склонялось на все лады, женщины хором уверяли, что им всегда было ясно: старшая дочь Митро – шлюха, и неизвестно еще, каковы остальные. И даже то, что Маргитка пропала бесследно и никаких доказательств ее непорочности не было, не могло заткнуть всех ртов. Нашлись цыгане, которые видели Маргитку разъезжающей одну по городу на извозчике, кто-то встречал ее в обществе Сеньки Паровоза, а кто-то даже утверждал во всеуслышанье, что Маргитка бегала на Хитровку для свиданий с «этим каторжником». Репутация семьи Дмитриевых, до этих пор безупречная, дала сильный крен. Теперь Митро нужно было всерьез думать о том, как пристраивать семейных оставшихся дочерей, из которых трое уже были на выданье. Угроза того, что цыгане не захотят сватать за своих сыновей невест из семьи с дурной славой, была слишком ощутима.

¹⁶ Среди цыган более, чем фамилии, используются прозвища.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.